



КУРТ

ВОННЕГУТ



ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Курт Воннегут
Вербное воскресенье

«Издательство АСТ»

1981

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Воннегут К.

Вербное воскресенье / К. Воннегут — «Издательство АСТ»,
1981 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-158457-3

«Вербное воскресенье» – поразительная, причудливая и искусная мозаика эпизодов, смешных и печальных, которую сам Воннегут называл «автобиографическим коллажем». Детство, юность, война, плен, радость брака и отцовства, катастрофа, новый взлет – воспоминания, которые писатель тасует, точно колоду карт, легко и почти небрежно. И на фоне всех этих зарисовок из его жизни четко проступает терзавший Воннегута всю жизнь «проклятый вопрос» – что спасает человека от одиночества и дарит смысл жизни?..

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-158457-3

© Воннегут К., 1981
© Издательство АСТ, 1981

Содержание

Вступление	6
Первая поправка	8
Корни	15
Как я потерял невинность	33
Отстой	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Курт Воннегут

Вербное воскресенье

*Моим родственникам из рода Сен-Андре, где бы они ни жили.
Кому достался замок?*

Kurt Vonnegut
PALM SUNDAY

© The Ramjac Corporation, 1981
© Перевод. А. Аракелов, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Вступление

Человек, исповедующий либеральные взгляды и выбравший в спутники жизни личность, полную предубеждений, рискует своей свободой и своим счастьем.

Клеменс Воннегут (1824–1906). Наставления в морали
(Холленбек Пресс, Индианаполис, 1900)

Эта книга – великое творение американского гения. Я трудился над ней шесть лет подряд. Я рычал и бился головой о батарею. Я истоптал холлы всех нью-йоркских гостиниц, думая об этой книге, я рыдал и голыми руками ломал мебель и старинные часы.

Это блестящий новый литературный жанр – книга сочетает неукротимую мощь серьезного романа и зубодробительную актуальность военной журналистики – почти забытой в наше время, хотя... Кто знает, кто знает. Я также вплеел в повествование яркую бесшабашность мюзикла, убийственный хук рассказа, легкий аромат личной переписки, литавры американской истории и напряженные нотки детектива.

Книга эта настолько глубокая и мощная, что напоминает мне эксперименты моего брата с радио. Он собрал передатчик собственной конструкции, подключил к нему телеграфный ключ и включил установку. Затем он позвонил нашему двоюродному брату Ричарду, который жил в паре миль от нас, и сказал, чтобы тот включил свой приемник и покрутил настройки – вдруг на какой-нибудь частоте тому удастся расслышать сигналы моего брата. Им обоим было по пятнадцать лет.

Бернард выстукивал легко узнаваемые сообщения одно за другим. Сигнал «SOS». Дело было в Индианаполисе, крупнейшем городе мира, лежащем вдали от морских трасс.

Ричард перезвонил ему. Он был поражен – сказал, что сигналы Бернарда были отчетливо слышны по всем частотам, они заглушали новости, музыку и все, что в этот момент пытались передавать нормальные радиостанции.

Эта книга, несомненно, является шедевром небывалого масштаба, и, как новое явление, как полномасштабная атака на человеческие чувства, она требует введения нового понятия. Я предлагаю термин «лажа». Во времена моей юности мы определяли это слово как «два фунта дерьма в однофунтовой сумке».

Я не против того, чтобы другие книги, попроще этой, но сочетающие выдумку и факты, тоже называть «лажей». «Книжное обозрение “Нью-Йорк таймс”» могло бы завести третью категорию для бестселлеров, что, по-моему, давно пора сделать. Если бы для «лаж» составляли отдельный список, их авторам более не пришлось бы выдавать себя за обычных романистов, историков и тому подобное.

Но, пока этот счастливый день не наступил, я, на правах действительно великого автора, настаиваю, что эта книга должна попасть в разделы как документальной, так и художественной прозы. То же и с Пулитцеровской премией: эта книга должна стать полным кавалером, победив в категориях романистики, драматургии, истории, биографической прозы и журналистики. Поживем – увидим.

Эта книга – не только лажа, но и коллаж. Сначала я хотел собрать в один том большую часть своих обзоров, речей и эссе, появившихся на свет после выхода прошлой подобной публикации 1974 года, «Вампитеры, Фома и Гранфаллоны». Но, разложив по порядку разрозненные тексты, я заметил, что они выстраиваются в подобие автобиографии, особенно если добавить к ним некоторые куски, написанные не мной. Дабы вдохнуть жизнь в этого голема, мне понадобилось добавить много соединительной ткани. Я справился.

Читатель найдет в этой книге мои размышления о том и о сем, потом какую-нибудь мою речь, или письмо, или что-то еще, потом еще немного болтовни и так далее.

На самом деле я не считаю эту книгу шедевром. Она неуклюжая. И сырая. Впрочем, по моему, она полезна как пример противостояния американского романиста и его собственной непреходящей наивности. В школе я был тупицей. Что бы ни было причиной этой тупости, оно сидит во мне и сейчас.

Я посвятил эту книгу роду де Сен-Андре. Я сам из де Сен-Андре, это девичья фамилия моей прапрабабушки по материнской линии. Мама считала, что это говорит о ее благородном происхождении.

Ее вера была совершенно невинной, не стоит язвить и издеваться над ней. Мне так кажется. Все мои книги пытаются доказать, что человеческими поступками, какие бы они ни были гадкие, глупые или возвышенные, движут вполне невинные мотивы. Тут к месту придется фраза, сказанная мне Маршей Мейсон, блестящей актрисой, которая как-то оказала мне честь, согласившись сыграть в моей пьесе. Как и я, она уроженка Среднего Запада, родом из Сент-Луиса.

– Знаете, в чем проблема Нью-Йорка? – спросила она меня.

– Нет.

– Там никто не верит, что на свете существует невинность.

Первая поправка

Я принадлежу к последнему, как мне кажется, заметному поколению профессиональных, целиком посвятивших жизнь своему ремеслу американских романистов. Мы все в чем-то похожи. Великая депрессия сделала нас едкими и наблюдательными. Вторая мировая нанимала нас, и мужчин, и женщин, воевавших и оставшихся в тылу, на единую натянутую струну. Последовавшая эра романтической анархии в литературе дала нам деньги и каких-никаких учителей в пору нашей юности – когда мы только постигали ремесло. Печатное слово в ту пору в Америке еще оставалось главным способом записи и передачи мыслей на большие расстояния. Но это в прошлом, как и наша молодость.

В прошлое ушли и толпы издателей, редакторов и агентов, готовых поощрять деньгами и советом молодых писателей, рождающих такую же корявую прозу, как мои сверстники в те далекие годы.

Это было веселое и полезное время для писателей – сотен писателей.

Телевидение уничтожило рассказ как жанр, и теперь в книгоиздательстве верховодят счетоводы и бизнес-аналитики. Им кажется, что деньги, потраченные на издание чьего-то первого романа, потрачены зря. Они правы. Как правило.

Так вот, повторяю – я, видимо, принадлежу к последнему поколению американских романистов. Теперь романисты будут появляться поодиночке, а не плеядами, будут писать один-два романа и забрасывать это дело. Многие из них получают деньги по наследству или вступив в брак.

Самым влиятельным из моего круга, по-моему, является Дж. Д. Сэлинджер, несмотря на его многолетнее молчание. Самым многообещающим был Эдвард Льюис Уоллент, который ушел от нас слишком рано. И я подозреваю, что смерть Джеймса Джонса два года назад – он-то уже был немолод, практически мой ровесник – придала этой книге отчетливый осенний привкус. Были, конечно, и другие напоминания о собственной бренности, можете мне поверить, но смерть Джонса прозвучала громче всех. Может, потому, что я часто вижусь с его вдовой, Глорией, и потому, что он, как и я, был уроженцем Среднего Запада и, как я, стал участником нашего главного приключения – Второй мировой войны – в качестве призывника. Заметьте, что, когда самые известные авторы моего литературного поколения писали про войну, они почти единодушно презирали офицеров и делали героями полуобразованных, агрессивных простонародных призывников.

Джеймс Джонс как-то рассказал мне, что издательство Скрибнера, печатавшее еще и Эрнеста Хемингуэя, захотело свести их вместе, чтобы два старых вояки поболтали о том о сем.

Джонс отказался. По его словам, он не считал Хемингуэя солдатом. Во время войны Хемингуэй мог приезжать на фронт и уезжать, когда ему вздумается, мог наслаждаться вкусной едой, женским обществом и так далее. Настоящим же солдатам приходилось находиться где приказано, идти куда приказано, есть помои и терпеть попытки противника прикончить их всяческими неприятными способами день за днем, неделя за неделей.

Наверное, самое замечательное в писателях моего поколения – возможность говорить абсолютно все без опаски или страха наказания. Наши американские потомки могут не поверить, как не верит большинство иностранцев, что какая-нибудь страна может принять закон, который звучит, скорее, как мечта, и гласит:

«Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии или запрещающего свободное исповедание оной, либо ограничивающего сво-

боду слова или печати, либо право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб»¹.

Разве может народ такой страны растить детей иначе как в духе соблюдения приличий и взаимоуважения? Это совершенно невозможно. Данный закон, несомненно, должен быть отменен ради блага детей.

И даже сейчас мои книги за компанию с произведениями Бернарда Маламада, Джеймса Дики, Джозефа Хеллера и многих других подлинных патриотов регулярно вышвыривают из школьных библиотек решениями школьных советов, члены которых часто говорят, что сами-то книг не читали, но знают из достоверных источников, что книги-де вредны для детей.

Мой роман «Бойня номер пять» даже был сожжен в печи уборщиком школы в городе Дрейк, штат Северная Дакота. Так постановил школьный комитет, и школьный совет сделал публичное заявление о ее «непристойности». Даже по стандартам викторианской Англии единственной нецензурной фразой во всем романе была:

– Убирайся с дороги, тупой долбоеб!

Американский артиллерист крикнул это другому американцу – безоружному помощнику капеллана во время Арденнской операции в декабре 1944 года, которая обернулась крупнейшим поражением американских войск за всю историю (не считая Гражданской войны). Помощник капеллана вышел из укрытия и попал под вражеский огонь.

Поэтому 16 ноября 1973 года я написал Чарльзу Маккарти, в Дрейк, штат Северная Дакота, следующее письмо:

«Дорогой мистер Маккарти!

Пишу Вам как к председателю школьного совета города Дрейк. Я один из тех американских писателей, книги которых были уничтожены в ставшей уже знаменитой топке Вашей школы.

Некоторые жители Вашего города предположили, что мои произведения вредны. Для меня это непростительное оскорбление. Новости из Дрейка говорят мне, что книги и писатели не кажутся вам реалистичными. Я пишу это письмо, чтобы дать Вам понять, насколько я реалистичен.

Хочу Вам сообщить, что ни я, ни мой издатель никоим образом не пытались воспользоваться отвратительными новостями из Дрейка. Мы не потирали руки, пересчитывая деньги, которые сможем выручить благодаря такой рекламе. Мы отказались от приглашений на телевидение, не писали полных ярости писем редакторам газет, не давали пространных интервью. Нам противно, грустно и обидно. Я не собираюсь отсылать копии этого письма кому-то еще. У Вас в руках единственный экземпляр. Это мое личное письмо жителям Дрейка, которые выставили меня в дурном свете в глазах своих детей и всего мира. Хватит ли у Вас мужества и элементарной порядочности показать это письмо остальным, или оно тоже отправится в пекло вашего отопительного котла?

Насколько я понял из газет и теленовостей, Вы считаете меня и некоторых других писателей какими-то крысами, которым нравится зарабатывать деньги, отравляя умы молодежи. На самом деле я крупный, сильный мужчина, мне пятьдесят один, в детстве я много работал на ферме, умею мастерить и обращаться с инструментом. Я вырастил шестерых детей, трех родных и трех приемных. Все они выросли прекрасными людьми. Двое из шести стали фермерами. Я бывший пехотинец, ветеран Второй мировой, награжден медалью «Пурпурное сердце». Все, что у меня есть, я заработал нелегким трудом. Меня никогда не арестовывали и не судили. Мне доверяли молодежь, и молодежь мне доверяла – я преподавал в Университете Айовы, в Гарварде и в нью-йоркском Сити-Колледже. Каждый год я получаю не меньше дюжины приглашений произнести речь на выпускных торжествах в различных школах и колледжах. Мои

¹ Первая поправка к Конституции США. – Здесь и далее примеч. пер.

книги, возможно, встречаются в школах чаще, чем произведения любого другого ныне здравствующего американского писателя.

Если бы Вы потрудились прочесть мои книги, как подобает образованному человеку, то узнали бы, что они не содержат распущенности, не пропагандируют каких-то диких поступков. Они просят людей быть добрее и ответственнее. Да, речь некоторых моих героев грубовата. Но ведь так и говорят реальные люди, особенно солдаты и работяги, и даже самые домашние дети знают об этом. И все мы знаем, что подобные слова не вредят детям. Они не вредили нам в молодости. По-настоящему людей калечат злоба и ложь.

После всего сказанного, я уверен, Вы все еще готовы ответить: «Да, да, но нам все же доверено право и обязанность решать, какие книги наши дети будут читать в нашей школе». Это правда. Но другая правда заключается в том, что если Вы воспользуетесь этим правом невежественно, нелепо, не по-американски, то люди могут посчитать Вас негодным гражданином и глупцом. И Ваши собственные дети могут Вас так назвать.

Я прочел в газете, что жители Вашего городка озадачены реакцией, которую вызвал Ваш поступок по всей стране. Что ж, Вы теперь знаете, что Дрейк – часть американской цивилизации и что остальные американцы не станут терпеть Ваше дикое поведение. Возможно, Вы также поймете, что книги священны для всякого свободного человека не просто так и что мы воевали со странами, которые ненавидели книги и сжигали их на костре. Как американец, Вы обязаны способствовать свободному обращению всех идей, а не только Ваших собственных.

Если Вы и Ваш совет соберетесь показать, что, принимая решения, касающиеся воспитания молодежи, Вы руководствуетесь мудростью и здравым смыслом, то Вам следует признать, что молодым людям свободного общества был преподан отвратительный урок: Вы опозорили и сожгли книги – книги, которых даже не читали. Вам также нужно дать своим детям возможность свободно получать информацию и знакомиться с разными мнениями, иначе им будет намного труднее воспринимать жизнь и принимать решения.

Еще раз: Вы меня оскорбили, я достойный гражданин, и я реалист».

С тех пор прошло семь лет. Ответа не последовало. А сейчас, когда я пишу эти строки в Нью-Йорке, в каких-то пятидесяти милях отсюда в школьных библиотеках действует запрет на «Бойню номер пять». Судебные тяжбы начались несколько лет назад и тянутся по сей день. Школьный совет нашел юристов, готовых зубами и когтями рвать Первую поправку. Почему-то желающих оспорить Первую поправку всегда в избытке, словно это какой-то сомнительный пункт в договоре на аренду квартиры.

Когда все только начиналось, 24 марта 1976 года, я высказал свое мнение в лонг-айлендской версии газеты «Нью-Йорк таймс». Вот оно:

«В очередной раз школьный совет запретил несколько книг – в этот раз в Левиттауне. Среди этих книг есть и моя. Я слышу о подобных, немыслимых для Америки абсурдных случаях как минимум дважды в год. Однажды в Северной Дакоте мои книги даже были по-настоящему сожжены в печи. Я от души посмеялся над этим глупым поступком, продиктованным невежеством и предубеждением.

Да, и трусостью, конечно: какой подвиг – воевать с вещами? Это как если бы святой Георгий атаковал покрывала и часы с кукушкой.

Видимо, подобных святых регулярно выбирают в школьные советы. Они на полном серьезе гордятся своей неграмотностью. Им почему-то кажется, что каждый раз, как кто-то из них хвастается, что вообще не читал книг, которые запретил (как тот господин из Левиттауна), он празднует подобие Дня независимости.

Такие балбесы часто становятся хребтом местной добровольной пожарной бригады, пехотного подразделения или кондитерского магазина, и мы им за это благодарны. Но не стоит им влезать в процесс обучения детей в свободной стране! Они для этого слишком тупы.

У меня есть предложение, которое положит конец запретам на книги в этой стране: каждый кандидат в школьный совет должен пройти проверку на детекторе лжи, где ему зададут вопрос: «Прочли ли вы после окончания школы хотя бы одну книгу от корки до корки? А за время учебы в школе?»

Если честный ответ будет «нет», кандидату следует вежливо сообщить, что он не может стать членом школьного совета и нести околесицу о том, как книги сводят детей с ума.

Когда в нашей стране начинают преследовать идеи, грамотные и начитанные поклонники американского эксперимента пишут аргументированные и логичные объяснения, почему все идеи должны жить и развиваться. Пришло время им понять, что они пытаются описать самое лучшее, самое оптимистическое, что есть в Америке, орангутангам.

Отныне я собираюсь ограничивать свое общение с полоумными Савонаролами этим советом:

– Пускай кто-нибудь ВСЛУХ прочтет тебе Первую поправку к Конституции Соединенных Штатов, дубина ты стоеросовая!

Ладно, в конце концов в городке появляется кто-нибудь из Американского союза гражданских свобод или другой подобной организации. Они всегда приезжают. Они объясняют, что такое Конституция и для чего она существует.

Они победят.

И в стране останутся миллионы раздраженных и обиженных этой победой людей – людей, которые считают, что некоторые вещи нельзя произносить вслух, особенно в области религии.

Они родились не в то время, не в том месте.

Поздравляю.

Так почему обычные американцы так не любят Первую поправку? Я обсуждал эту тему с разными людьми на благотворительном вечере Американского союза гражданских свобод в Сэндс-Пойнт, штат Нью-Йорк, 16 сентября 1979 года. Так совпало, что дом, в котором мы собрались, был, по слухам, использован Фрэнсисом Скоттом Фитцджеральдом в качестве прототипа для дома Гэтсби в романе «Великий Гэтсби». Не вижу повода не верить в это. Вот что я сказал собравшимся:

– Я не собираюсь говорить конкретно о запрете моей книги «Бойня номер пять», который действует в школьных библиотеках Айленд-Триз. Тут я лицо заинтересованное. В конце концов, я написал эту книгу, и кому, как не мне, считать ее не настолько отвратительной, как показалось школьному совету?

Вместо этого я хочу поговорить о Фоме Аквинском. Я смутно припоминаю его иерархию законов на нашей планете, которая в те времена считалась еще плоской. Высшим законом, говорил он, является Закон Божий. За ним следуют законы природы, к которым, полагаю, относятся громы, молнии, и наше право оберегать своих детей от вредоносных идей.

На самой нижней ступени находится людской закон.

Давайте я попробую проиллюстрировать этот расклад на примере игральных карт. Враги Билля о правах делают это постоянно, а мы чем хуже? Так вот, Божественный закон в этом случае будет тузом. Закон природы – королем. А Билль о правах – жалкой дамой.

Иерархия законов, по Аквинскому, настолько логична, что я не встречал человека, который сомневался бы в ее верности. Все понимают, что существуют законы гораздо более грандиозные, чем те, что записаны в юридических книгах. Проблема в том, что каждый их понимает по-своему. Теологи могут предложить свои версии, но окончательно расставить все точки над *i* может только диктатор. Человек, который был в армии простым капралом, сделал для Германии и для всей Европы столько, что его долго еще не забудут. Он знал абсолютно все про Закон Божий и законы природы. В колоде у него были сплошные тузы и короли.

На противоположной стороне Атлантики мы, как говорится, играем неполной колодой. У нас есть Конституция, поэтому высшим козырем для нас была всего лишь какая-то «дама» –

презренный человеческий закон. Так было и так есть. Я очень доволен такой неполнотой, нам от этого только польза. Я поддерживаю Американский союз гражданских свобод, поскольку раз за разом он идет в суд, чтобы доказать, что чиновники нашего правительства не должны иметь закона выше, чем человеческий. Каждый раз, когда та или иная идея встречает противодействие у чиновника и этот чиновник нарушает Конституцию, он пытается заставить всех нас подчиняться законам более высокого порядка – божественным или природным.

Но разве не можем и мы, либертарианцы, позаимствовать что-нибудь из законов природы – хотя бы чуть-чуть? Разве мы не можем учиться у природы, не нагружая себя чужими представлениями о Боге?

Конечно, мюсли еще никому не вредили, равно как птицы или пчелы, не говоря уже о молоке. Творец непознаваем, а природа беспрестанно демонстрирует свои секреты. Так чему она нас научила? Что черные, очевидно, стоят ниже белых, и их удел – грязная работа на белого человека. Этот наглядный урок природы – нам стоит почаще об этом себе напоминать – позволил Томасу Джефферсону оставаться рабовладельцем. Как вам наука?

Меня очень беспокоит, что в моей любимой стране детям очень редко говорят о том, что американская свобода исчезнет, если они, став взрослыми полноправными гражданами, будут утверждать, что суды, полицейские и тюрьмы должны руководствоваться природными или божественными законами.

Большинство учителей, родителей и воспитателей не преподают детям этого жизненно важного урока, поскольку сами его не усвоили – или же они просто боятся. Чего? В этой стране человек может заработать себе большие неприятности, ему даже может потребоваться защита Американского союза гражданских свобод, если он вздумает изложить смысл этого урока: никто на самом деле не понимает природы или Бога. Не секс или насилие, а лишь мое желание подчеркнуть эту мысль вовлекло мою несчастную книжку в разные передраги в Айленд-Триг – и городе Дрейк, в Северной Дакоте, где ее сожгли, и во множестве других городков, которые слишком долго перечислять.

Я не утверждаю, что наши законы против природы или против Бога. Я сказал лишь, что они не имеют отношения ни к тому, ни к другому по причинам, от которых у вас волосы встанут дыбом.

Все хорошее когда-то кончается. Американская свобода тоже исчезнет рано или поздно. Как? Как и все другие свободы – сдастся на милость высших законов.

Если вернуться к дурацкой аналогии с картами: будут разыграны тузы и короли. У остальных не будет карт сильнее дамы.

Между обладателями тузов и королей начнется борьба, которая не закончится – нам, правда, к тому времени уже будет все равно, пока кто-нибудь не выложит туза пик. Туз пик – неберущийся козырь.

Спасибо за внимание.

Эту речь в доме Гэтсби я прочел днем. Потом я поехал к себе домой, в Нью-Йорк, и написал письмо в Советский Союз, своему другу Феликсу Кузнецову, выдающемуся критику и преподавателю, работнику Союза писателей СССР.

Я писал письмо уже поздно вечером. Когда-то я успевал к этому часу хорошо набраться, и от меня несло горчичным газом и розами. Все в прошлом, больше я не пью. И вообще я не писал книги или рассказы под парами. Письма – да. Писем в таком состоянии я написал немало.

Все в прошлом.

Так или иначе, я был трезв и тогда, и сейчас. С Феликсом Кузнецовым мы познакомились прошлым летом, на международной встрече в Нью-Йорке, проходившей под эгидой Фонда Чарльза Кеттеринга, на которой присутствовали американские и советские литераторы, человек по десять от каждой страны. Американскую делегацию возглавлял Норманн Казинс, в нее

вошли я, Эдвард Олби, Артур Миллер, Уильям Стайрон и Джон Апдайк. Все мы публиковались в Советском Союзе – меня так вообще издали почти всего, за исключением «Материтьмы» и «Рецидивиста». Из авторов с советской стороны у нас почти никто не печатался, мы не читали их произведений.

Советские писатели поставили нам на вид, что их страна издала так много наших работ, а мы печатаем слишком мало советских книг. Мы ответили, что постараемся издавать больше советских авторов, но, если подумать, СССР мог без проблем включить в делегацию писателей, чьи работы известны и любимы в Америке; а мы, в свою очередь, могли бы подобрать таких людей, о которых в Союзе никто даже не слышал – каких-нибудь сантехников из Фресно.

В любом случае мы с Феликсом Кузнецовым нашли общий язык. Я пригласил его в гости, и мы почти полдня проболтали в саду у меня за домом.

Позже, когда все участники уже разъехались по домам, в Советском Союзе разгорелся скандал по поводу самиздатовского журнала «Метрополь». Большинство авторов и редакторов «Метрополя» были молодыми людьми, которых не устраивало, что судьбу их произведений решали старые пердуны. В материалах «Метрополя» не было ничего предосудительного, ничего даже отдаленно похожего на обзывание капеллана «тупицей». Но «Метрополь» закрыли, авторов разогнали и принялись выдумывать, как еще испортить жизнь всем, кто как-то был связан с журналом.

Поэтому Олби, Стайрон, Апдайк и я отправили телеграмму в Союз писателей, где говорилось, что мы считаем неправильным наказывать писателей за их произведения, что бы они ни писали. Феликс Кузнецов прислал официальный ответ, от которого веяло эдаким показательным процессом, на котором один заслуженный автор за другим заявляли, что коллектив «Метрополя» и не писатели вовсе, а порнографы, хулиганы и так далее. Он попросил, чтобы его ответ напечатала «Нью-Йорк таймс», и газета согласилась. Почему бы нет?

Я также написал Кузнецову личное письмо:

«Дорогой профессор Кузнецов, дорогой Феликс.

Спасибо Вам за скорый, откровенный и взвешенный ответ от 20 августа и за дополнительные материалы, которые Вы прислали. Я прошу прощения за то, что не отвечаю на Вашем красивом языке, и хотел бы уйти от формального тона в вопросе «Метрополя». Мне гораздо ближе дружеская, братская атмосфера, которая царила в моем саду год назад, во время нашей с Вами беседы.

В своем письме Вы называете нас «американскими авторами». В данном случае я пишу не как американец, я пишу от себя лично, не выступая от имени какого-либо американского учреждения. Сейчас я просто автор, я пишу из солидарности к большой и уязвимой семье писателей всего мира. Я уверен, что Вы и другие члены Союза писателей испытываете такие же ощущения. Мы же, те четверо, что отправили Вам телеграмму, настолько слабо связаны между собой, что я понятия не имею, что они Вам ответят.

Как Вы, наверное, знаете, Ваш ответ на телеграмму недавно был напечатан в «Нью-Йорк таймс» и, вероятно, где-то еще. Скандал не привлек особого внимания. Похоже, им интересуются одна лишь литературная публика. Всем плевать на писателей, кроме самих писателей. Если бы не единицы вроде нас, отправителей телеграммы, не думаю, что кто-то вообще беспокоился бы о писателях, что бы с ними ни случилось. Нам что, тоже перестать?

Дело вот в чем: я ведь понимаю, что мы принадлежим к настолько разным культурам, что никогда не придем к единому мнению насчет свободы самовыражения. Это естественно. Даже, наверное, правильно. Но Вы можете не знать, что на наших писателей, в том числе тех, кто подписал ту телеграмму, регулярно нападают свои же граждане, которые называют нас порнографами, растлителями детей, пропагандистами насилия, бездарями и так далее. Мои книги фигурируют в судебных процессах по несколько раз в год; обычно истцами становятся родители, не желающие по религиозным или политическим соображениям, чтобы их дети читали

то, что я написал. И часто эти иски встречают понимание в местных судах. Конечно, потом их отклоняют вышестоящие суды, которые лучше понимают дух Конституции США.

Пожалуйста, донесите содержание этого письма до моих братьев и сестер в Союзе писателей, как мы передали Ваше письмо в «Нью-Йорк таймс». Я отсылаю его лично Вам, решайте сами. Я не собираюсь отсылать копии кому-либо еще. Даже моя жена его не читала.

Может, если Вы сообщите Союзу писателей об этой маленькой детали, Ваши коллеги поймут важную вещь, которую, кажется, никто толком не осознал: мы не националисты, сражающиеся по другую сторону линии фронта «холодной войны». Нас просто глубоко заботит происходящее с писателями по всему миру. Даже если их объявить графоманами, как и нас когда-то, мы все равно будем за них беспокоиться».

Кузнецов вскоре ответил, тоже личным письмом, любезным и теплым. Думаю, мы остались друзьями. Он не критиковал свой Союз или свое правительство. Однако он и не пытался разубедить меня, что писатели мира, плохие или хорошие, приходятся друг другу пусть не родными – пусть двоюродными братьями.

А все эти перебранки между образованными людьми из Соединенных Штатов и Советского Союза, они очень трогательные и комичные, если, конечно, не ведут к войне. Мне кажется, что начало свое они берут от страстного желания обеих сторон заставить чужую Утопию работать лучше. Мы хотим подправить их систему, чтобы люди в Советском Союзе могли, например, говорить, что хотят, без страха наказания. Они хотят улучшить нашу систему, чтобы все желающие могли найти работу и чтобы нам не пришлось видеть в продаже детское порно и записи казней.

Однако обе наши Утопии работают не лучше, чем наборная машина Пейджа, в которую Марк Твен вложил (а затем потерял) целое состояние. Изящная конструкция набрала страницу один раз в присутствии лишь Твена и самого изобретателя. Твен созвал остальных пайщиков посмотреть на это чудо, но, пока все собрались, изобретатель успел снова разобрать машину. Больше она не работала.

Мир вам!

Корни

Я – потомок европейцев, которые, как я докажу, из поколения в поколение слыли людьми образованными и которые не были рабами, наверное, со времен римских гладиаторов. Дотошный историк заметит, что мои европейские предки время от времени сами сдавались в рабство собственным военачальникам. Однако я, изучив свою генеалогию на протяжении последней сотни с лишним лет, не обнаружил особых любителей войны.

Мой отец и деды не воевали. Лишь один из четырех моих прадедов был на войне, Гражданской войне. Его звали Петер Либер, он родился в 1832 году в Германии, в Дюссельдорфе. Девичья фамилия моей матери – Либер. Петер Либер, человек, реальный для меня не более, чем для вас, прибыл в Америку вместе с миллионом других немцев в 1848 году. Он жил в Нью-Ульме, штат Миннесота, держал бакалейный магазин, принимал у местных индейцев меха в уплату за товар. Когда разразилась Гражданская война, Авраам Линкольн созвал под свои знамена 75 тысяч добровольцев, и в их числе Петера Либера, который стал бойцом 22-й Миннесотской батареи легкой артиллерии, прослужил там два года, был ранен и вышел в отставку со всеми почестями. «Пуля попала в колено, он хромал до конца жизни», – писал мой дядя Джон Раух (1890–1976). На самом деле он приходился мне не дядькой, а лишь мужем двоюродной сестры моего отца, Гертруды Шнуль-Раух. Он окончил Гарвард и стал известным в Индианаполисе адвокатом. В преклонном возрасте дядя Джон заинтересовался историей семьи своей жены и соответственно части моей семьи, он стал летописцем рода, с которым не имел кровного родства.

Я весьма дальний родственник его жены, и в этой летописи мне полагалась разве что сноска. Тем сильнее было мое изумление, когда в один прекрасный день он вручил мне рукопись, озаглавленную «Описание родословной Курта Воннегута-мл., составленное старинным другом его семьи». Это было потрясающее дотошностью исследование, написанное собственноручно дядей Джоном, причем, к моему стыду, лучше, чем многие из моих вещей. Более экстравагантного подарка я себе и представить не мог, и его мне сделал человек, который никогда не хвалил моих произведений, разве что сказал, что «удивлен солидностью моего изложения», и заметил, что я заработаю неплохие деньги.

В моем первом рассказе, «Эффект Барнхауза», опубликованном в еженедельнике «Колльер», главным героем был человек, способный силой разума контролировать игральные кости, а также расшатывать кирпичи в печных трубах на большом расстоянии. Дядя Джон тогда сказал:

– Ну все, теперь тебе будут писать чудачки со всей страны. Они ж тоже... со способностями.

Когда я опубликовал роман «Колыбель для кошки», дядя Джон прислал мне открытку со словами «То есть ты хочешь сказать, что жизнь – дерьмо? Почитай Теккерея!» При чем он не шутил.

В его глазах я не принадлежал к благородной профессии писателя, и доказать это он мог, только продемонстрировав, как следует писать подлинному джентльмену от литературы – на примере моей родословной. Теперь я в курсе.

Когда дядя Джон упоминает в своем труде Курта, он имеет в виду моего отца, Курта Воннегута-старшего. Меня он обычно называет моим детским прозвищем – К. Люди, которые знали меня в детстве, лет до двенадцати, до сих пор зовут меня так же. Потом к ним присоединились мои дети и внуки.

Кстати, я никогда не отождествлял себя с кафковским К. Рожденный в демократической стране, я вырос достаточно самоуверенным, полагая, что всегда знаю, кто управляет страной и что на самом деле происходит. Возможно, я не прав.

Дядя Джон начал свою рукопись с нейтрального академического описания переселения на американский континент европейских иммигрантов и последовавшего роста торговли, производства, сельского хозяйства и т. д. Крупнейшая волна миграции была немецкой, за ней последовала итальянская, а потом и ирландская.

Свое вступление дядя Джон подытожил так:

«Две мировые войны, в которых Соединенные Штаты сражались против Германии, были болезненным испытанием для американцев немецкого происхождения. Их мучила необходимость противостоять братьям по крови, но они сделали это. Важно заметить, что среди миллионов этнических немцев, населявших Соединенные Штаты во время тех ужасных войн, не нашлось ни единого предателя».

Немцы любили и любят свою историческую родину, но им не нравились ни кайзер Вильгельм II и его генералы, ни Гитлер с его полоумными нацистами. Симпатии американских немцев были на стороне Англии, и принятие английской культуры предопределило их отношение к происходящему. Когда в 1917 и в 1941 годах Англия находилась в опасности, американские немцы поддерживали ее борьбу против фатерланда. Мало кто уделил внимание этому феномену.

Попробую исправить.

Как я уже писал в других книгах, антигерманизм Америки времен Первой мировой так смутил и пристыдил моих родителей, что они решили вырастить меня в отрыве от языка, музыки или семейных преданий, любимых моими предками. Они добровольно сделали меня невеждой без корней, чтобы доказать собственный патриотизм.

То же самое, как мне кажется, с поразительной покорностью судьбе делалось во множестве немецких семей в Индианаполисе. Дядя Джон чуть ли не гордился разрушением и тихими похоронами культуры – культуры, которая мне точно пригодилась бы сегодня.

Но у меня все пробегает холодок по спине, когда я встречаю американца немецкого происхождения, который – поразительно! – был воспитан в ненависти к Вудро Вильсону за то, что тот поднял вопрос о верности, как он говорил, «американцев в кавычках». Усомнился в тех, кто любил демократию столь сильно, что снимал немецкие вывески с магазинов, стадионов, школ, принадлежавших немцам, отказывался слушать немецкую музыку или прекращал есть зауэркраут – символ Германии, кислую капусту. Насколько я помню, никто из моих родственников ничего не говорил мне про Вудро Вильсона – ни хорошего, ни плохого.

Один мой друг, тоже американский немец моих лет, изучающий историю архитектуры, ругает Вудро Вильсона после пары бокалов. Он говорит, что Вильсон пытался убедить страну, что патриотично быть глупым, гордиться тем, что знаешь только один язык, верить, что другие культуры ниже и примитивнее твоей, противны Господу и здравому смыслу, что в реальных жизненных передрыгах художники, учителя и мыслители оказываются бабами и слюнтяями и т. д. и т. п.

Еще он говорит, что главная беда страны заключается в том, что американские немцы были опорочены как раз тогда, когда они достигли таких высот в искусстве и образовании. Возненавидеть все, что им было дорого в то время, включая, кстати, гимнастику, означало лоботомировать не только американских немцев, но всю нашу культуру.

– Остался только американский футбол, – говорит в заключение мой друг, и кто-то из компании подвозит его домой.

Возвращаясь к дяде Джону.

Восемь прародителей Курта Воннегута-младшего, четыре прабабушки и четыре прадедушки, являлись частью массовой миграции немцев на Средний Запад, которая длилась полвека, с 1820-го по 1870-й. Их имена: Клеменс Воннегут-старший и его жена, Катарина Бланк; Генри Шнуль и его жена, Матильда Шрамм; Петер Либер и его жена, София Сен-Андре; Карл Барус и его жена, Алиса Моллман. Их предками были шестнадцать прапрародителей: Якоб

Шрамм и его жена, Юлия Юнганс; Иоганн Бланк и его жена, Анна Мария Огер. Оставшиеся двенадцать и их предки канули в неизвестность. Они не покидали Германии. Их кости лежат в земле безымянными.

Но те восемь, что перебрались сюда, были лучше образованы и по положению стояли выше обычных иммигрантов. Все они, за исключением родителей Анны Огер, были бюргерами, горожанами, торговцами и представителями среднего класса – в отличие от большей части немецких переселенцев, крестьян и ремесленников.

Итак, прапрадед К., Якоб Шрамм, был саксонцем, многие поколения его семьи занимались торговлей зерном. Он привез с собой пять тысяч долларов золотом, шесть сотен книг и множество сундуков с домашней утварью, включая мейсенский фарфоровый обеденный сервиз. Он сразу же купил участок земли под Камберлендом, в штате Индиана. Человек он был образованный и начитанный, поэтому по приезде отослал в Германию несколько писем, где описывал свой опыт и давал полезные советы потенциальным переселенцам. Эти письма в Германии собрали воедино и опубликовали. В 1928 году эту книгу перевели на английский и издали в Америке, она есть в библиотеке Исторического общества Индианы.

Якоб Шрамм много ездил по миру – совершил даже кругосветное путешествие. Он разбогател. Купил много земли, один участок, у старой Мичиганской дороги на северо-запад от Индианаполиса, составлял больше двух тысяч акров. Он ссужал деньгами селившихся неподалеку немецких иммигрантов – под надежный залог, конечно. Когда в 1857 году его единственная дочь Матильда вышла замуж за Генри Шнулля, Якоб Шрамм предоставил зятю капитал, чтобы тот мог заняться оптовой торговлей бакалейными товарами. Предприятие оказалось успешным и сделало Генри весьма богатым человеком.

Родня К. со стороны отца, Воннегуты, были также людьми с положением. Они происходили из Мюнстера, что в Вестфалии. Фамилия Воннегут пошла от далекого предка, имевшего усадьбу – «айн гут» на местной речке Фюнне, отсюда и фамилия Фюннегут – усадьба на Фюнне. Потом фамилию переделали в Воннегут – для английского уха она звучала чересчур смешно.

Клеменс Воннегут-старший родился в Мюнстере в 1824 году; приехал в Соединенные Штаты в 1848-м и поселился в Индианаполисе в 1850 году. Его отец собирал налоги для герцога Вестфальского.

Клеменс был образованнее абсолютного большинства немецких переселенцев, да и вообще иммигрантов тех времен. Он окончил хохшуле в Ганновере – это значило, что он был кем-то вроде выпускника современного колледжа и имел право поступить в университет как соискатель докторской степени. Он изучал латынь и греческий, помимо родного немецкого, свободно говорил по-французски. Много читал исторических и философских сочинений, имел обширный словарный запас, письменная его речь была ясной и четкой. Воспитанный в духе католического вероисповедания, он все же отвергал формальную религию и не любил священников. Восхищался Вольтером, разделял многие его философские взгляды. Вместо поступления в университет Клеменс отправился в Амстердам и нанялся продавцом к голландским торговцам тканями. В 24 года он решил перебраться в Соединенные Штаты, где уже побывал в качестве торгового агента. Прибыв в Индианаполис в 1850-м, он встретил земляка по фамилии Волльмер, который поселился здесь несколькими годами раньше и успел обзавестись небольшой скобяной лавкой. Они подружились, и Волльмер предложил Воннегуту стать партнером по бизнесу. Фирма стала называться «Волльмер и Воннегут», но вскоре Волльмер решил податься на Дикий Запад попытать счастья на только что открытых калифорнийских золотых приисках. С тех пор о нем никто не слышал. Скорее всего он так и сгинул на Фронтире.

Так Воннегут стал единственным владельцем небольшой фирмы, которую с 1852 года он сам, а позже его сыновья и внуки превратили в солидное предприятие, известное как «Скобяные изделия Воннегута».

В пятидесятых годах XIX века через дорогу от его первого скромного магазина на Ист-Вашингтон-стрит работал небольшой немецкий ресторанчик. Одну из официанток, симпатичную девушку, звали Катарина Бланк. Она, ее родители и шесть ее братьев и сестер приехали в Америку из баденского Урлоффена. Семья поселилась на ферме в округе Мэрион, западнее Индианаполиса. Расчистив участок среди леса и осушив его, Бланки пытались сделать свою землю плодородной. При таком количестве голодных ртов детям приходилось приниматься за работу, едва научившись читать и писать. Катарине досталось место официантки, и вскоре в нее влюбился Клеменс Воннегут. В 1852 году они поженились. Ему было двадцать восемь, ей – двадцать четыре. Они купили скромный дом на Вест-Маркет-стрит и принялись постепенно улучшать свое материальное положение. Темноволосая Катарина, как и Клеменс, росту была небольшого. Дома они говорили по-немецки, хорошо знали французский. Детей своих воспитывали в духе, традиционном для Германии XIX века. Очень важный момент для понимания аскетической, пуританской этики Клеменса: его литературным кумиром был Шиллер, а не Гете, хотя гений последнего, несомненно, мощнее. Клеменс неодобрительно относился к моральным устоям Гете и не читал его. Катарина, несмотря на простонародное происхождение и недостаточное образование, превратилась в уважаемую и полную чувства собственного достоинства матрону, обожаемую детьми и внуками.

Клеменс заслужил общественное признание как поборник прогрессивного общественного образования. Двадцать семь лет он был членом Образовательного совета Индианаполиса; большую часть этого срока – председателем и исполнительным секретарем. Чиновником он был неподкупным и деятельным. Особенно его интересовала средняя школа: он считал, что важнейшие знания дают уроки классических языков, истории и общественных наук. Его стараниями в 1894 году было открыто еще одно учебное заведение, известное как Практическая средняя школа с уклоном в точные науки, математику и инженерию. Руководил школой профессор Эмерих. Выпускников местных школ с удовольствием принимали в Гарвард, Йель и другие крупные университеты вплоть до 1940 года. Позже, правда, престиж местных школ упал из-за понизившихся стандартов образования.

Клеменс Воннегут был легендарной личностью. После избрания в городской совет по образованию он обнаружил, что местные банки не начисляют процент на довольно большие суммы, которые совет держит на счетах. Он потребовал от банков выплачивать положенный процент. В то время это считалось вредным нововведением, подрывающим весьма выгодную для банков традицию. Банкир Джон П. Френцель примчался в кабинет Клеменса и начал орать на него. Клеменс притворился глуховатым и приложил ладонь к уху. Френцель стал ругаться еще громче. Но Клеменс все еще «не слышал». Френцель завопил во всю мочь, присовокупив непечатное словцо, – бесполезно. В итоге банкиру пришлось убраться восвояси. Френцель остался глух к гласу вопиющего в пустыне. Зато банки начали платить проценты по вкладам и продолжают делать это по сей день.

В другой раз к нему заявился обиженный подрядчик, которому не понравилось, что контракт на постройку школы достался конкуренту, не имевшему нужных политических связей. Клеменс вновь притворился глухим, но в этот раз он вдобавок достал перочинный ножик и принялся стричь ногти. Взбешенный подрядчик вскоре перешел на проклятия. Клеменс спокойно молчал. Закончив с ногтями на руках, он снял туфли, носки и начал сосредоточенно подрезать ногти на ногах. Вскоре неприятный посетитель вынужден был уйти ни с чем, проклиная «сброндившего немца». Клеменс невозмутимо продолжил свою работу. Про него еще много подобного рассказывали, но ко времени своей смерти в 1906 году в возрасте восьмидесяти двух лет он был всеми уважаемым бизнесменом и гражданином; среди немецких эмигрантов Индианаполиса его престиж уступал разве что Генри Шнуллю.

Старик Клеменс, разменяв восьмой десяток, передал управление компанией трем своим сыновьям: Клеменсу-младшему, Франклину и Джорджу. Четвертый сын, Бернард, не задер-

жался в компании надолго – он не любил «торговать гвоздями» и посвятил свою жизнь архитектуре и изобразительному искусству. Здоровье Бернарда было не такое крепкое, как у братьев, двое из которых перешагнули через девяностолетний рубеж. Всем троим старик подал пример не только высокой морали, но и физической культуры, достигаемой спортивными упражнениями. До последних дней своей жизни старина Клеменс придерживался принципа Отца Яна²: «В здоровом теле здоровый дух». Даже в пожилом возрасте он весил не больше 50 килограммов. Иногда его видели энергично шагающим по улице с парой здоровенных булыжников в руках. Если он замечал дерево с хорошей, крепкой веткой невысоко от земли, клал камни на землю и несколько раз подтягивался.

Стилым декабрьским днем 1906 года, на 83-м году жизни, Клеменс вышел из дому на свою обычную прогулку. Потом он, видимо, заблудился. Обеспокоенные его долгим отсутствием родственники известили полицию и организовали поиски. Тело Клеменса нашли на обочине в нескольких милях от дома. Такая смерть ему, наверное, понравилась бы – движение до последнего вздоха.

Почти все мои предки переселились из Европы напрямую в Индианаполис, кроме Петера Либера и Софии де Сен-Андре, которые какое-то время держали бакалейную лавку в Нью-Ульме, в Миннесоте. После ранения Петер вернулся с войны с множеством рассказов о процветании Индианаполиса. Нью-Ульм по сравнению с ним казался пустыней.

Посему Петер, если верить дяде Джону, добился встречи с одним из секретарей Оливера П. Мортонна, губернатора штата Индиана. Губернатору требовался человек, хорошо владеющий немецким, – для связей с общественностью. Платили хорошо и вовремя, поэтому Петер проработал на губернатора до самого конца войны.

В 1865 году Петеру улыбнулась удача. Крупнейшая городская пивоварня называлась «Гэк и Райзер». После смерти владельцев фирму выставили на торги, Петер купил ее и переименовал в «П. Либер и К°». Он не имел ни малейшего представления о пивоварении, но нашел знающего мастера по фамилии Гейгер и принялся производить пиво Либера. С самого начала бизнес пошел в гору. Петер уделял особое внимание продажам, в которых он поднаторел. Не гнушался он политических интриг и сговоров с салунами.

Петер всегда был политически активен. Это помогало выбивать питейные лицензии для своих клиентов – владельцев салунов и баров. До 1880-го он был убежденным республиканцем, как все ветераны Гражданской войны. Но в 1880-м республиканцы под влиянием Методистской церкви включили в свою программу пункт, рекомендующий избирателям отказаться от торговли пивом и крепкими напитками. Это были первые ласточки «сухого закона». Такая позиция вредила интересам Петера. Разозленный, он тут же превратился в демократа – активного, агрессивного демократа.

Петер Либер щедро жертвовал деньги на избирательную кампанию Гровера Кливленда, особенно в 1892 году, когда тот был избран президентом во второй раз. В благодарность в 1893 году он был назначен генеральным консулом Соединенных Штатов в Дюссельдорфе.

Петер Либер продал свою пивоварню британскому синдикату. Синдикат, в свою очередь, назначил управляющим фирмой старшего сына Петера, моего прадеда Альберта.

В 1893 году Петер вернулся в Германию, купил там замок на Рейне, рядом с Дюссельдорфом. Он принял от президента Кливленда назначение генеральным консулом Соединенных Штатов в Дюссельдорфе. Дядя Джон пишет:

«Он повесил над своим замком американский флаг, передоверил свои церемониальные обязанности подчиненным и провел остаток дней в роскоши и богатстве.

² Фридрих Людвиг Ян – немецкий педагог, пропагандист физической культуры и гимнастики, получивший прозвище Turnvater – Отец гимнастики.

Его сын Альберт, который даже не закончил колледжа, остался в Индианаполисе и руководил пивоварней. Раз в год он навещался в Лондон с отчетом к новым владельцам».

Итак, дядя Джон дал подробное описание жизни четырех моих предков, привезших в эту, тогда еще практически дикую, страну девичью фамилию моей матери – Либер и фамилию отца – Воннегут. Остались еще два прадеда, две прабабки, два деда с женами и мои родители.

Скажу честно, больше всех меня занимает биография Клеменса Воннегута, того самого, который умер на обочине дороги.

«Клеменс Воннегут по собственной воле стал эксцентричным человеком, – пишет дядя Джон. – Несмотря на то что его предки были католиками, он провозгласил себя атеистом и вольнодумцем».

Так же, как и я.

Но правильнее было бы назвать его скептиком, отвергающим веру в непознаваемое.

Скептик – подходящее звание и для меня.

Тем не менее он был образцовым викторианским аскетом, жил скромно и чурался всяких излишеств.

Я стараюсь. Я больше не пью, но дымлю, как дом при пожаре. Я однолюб, но женат вторым браком.

Он преклонялся перед Бенджамином Франклином Рузвельтом, которого считал «американским святым», и третьего сына назвал в его честь, не следуя церковному календарю.

Я тоже назвал своего единственного сына в честь американского «святого», Марка Твена.

«В знак признания заслуг на ниве общественного образования, – продолжает дядя Джон, – его именем называли одну из городских школ. Он был блестяще образован, начитан, написал множество статей, отражавших его взгляды на образование, философию и религию. Он даже написал речь для собственных похорон».

Эта речь, кстати, появляется в XI главе данной книги – в главе, посвященной религии. Недавно я читал ее вслух своему сыну Марку, агностику, который стал врачом, но когда-то, заканчивая колледж, собирался стать унитарийским священником.

Марк выслушал речь, помолчал и сказал:

– Смелый человек.

Читая эту речь, вы отдадите должное смелости Клеменса Воннегута, особенно если играете в шахматы, как Марк.

Примечание: мне не хватит смелости завещать, чтобы на моих похоронах прочли речь Клеменса Воннегута.

Возвращаясь к дяде Джону.

Еще один из прапрадедов Курта Воннегута-младшего, прославивший свое имя Генри Шнуль, переехал в Индианаполис из городка Хаусберге в Вестфалии лет за десять до Гражданской войны. Они с братом еще в Германии побывали в учении у купца, знали, как торговать и вести расчеты. Сперва они занялись закупкой продуктов на фермах центральной Индианы: на крытой повозке объезжали окрестных фермеров и покупали зерно, масло, яйца, кур, соленую и копченую свинину, чтобы потом перепродать в городе.

Они работали не покладая рук и через какое-то время стали возить свой товар в Мэдисон или Джефферсонвилль, штат Индиана. Их громадные баржи ходили по рекам Огайо и Миссисипи аж до Нового Орлеана. Братья по очереди сопровождали баржи и продавали груз в Новом Орлеане. Выручив за товар неплохие деньги, братья брали в Новом Орлеане кофе, ром и сорго, который называли «новоорлеанской мелассой». Потом они вели баржи вверх по реке, в Цинциннати или Индианаполис, где снова получали навар. Говорят, они привели в Индианаполис один из последних караванов с Юга, после чего конфедераты перекрыли речное снабжение в районе Мемфиса. Цены на сорго и кофе взлетели до небес, и братья Шнуль заработали достаточно денег, чтобы открыть оптовую торговлю бакалеей и построить склад, который все еще

стоит на углу Вашингтон-стрит и Делавэр-стрит в Индианаполисе. Вначале их фирма называлась «А. и Г. Шнуль», потом «Шнуль и компания». После завершения Гражданской войны Август заявил, что он заработал достаточно денег и хочет вернуться в Германию. Он продал свою долю Генри и увез с собой в Хаусберг двести тысяч долларов. Там он купил себе усадьбу и жил, как аристократ, до самой смерти в 1918 году.

Генри Шнуль решил остаться в Соединенных Штатах. Он стал одним из богатейших торговцев Индианы и одним из самых уважаемых граждан. Вдобавок к оптовой торговле бакалейными товарами он основал мастерскую «Игл мэшин уоркс», которая позже превратилась в знаменитый машиностроительный завод «Атлас», где производили паровозы и сельскохозяйственное оборудование. Он также организовал «Американскую шерстяную компанию», первую ткацкую фабрику в штате.

Вскоре после принятия в 1865 году закона о национальных банках Генри основал и стал первым президентом Национального торгового банка Индианаполиса, который, пережив все войны и депрессии, существует по сию пору.

Генри Шнуль был человеком чрезвычайно смелым, независимым и упорным, умным, самостоятельным и предприимчивым, невероятно честным и верным слову, полностью преданным своей работе и ремеслу. Он сказочно разбогател и в 1905 году оставил состояние, которое обеспечило безбедное существование трем поколениям его потомков. У него было такое количество разнообразных занятий, что времени на семью практически не оставалось и дети видели его очень редко. Свою будущую жену, Матильду Шрамм, он встретил еще в 1854 году, во времена поездок по фермам. Привычная к крестьянскому труду Матильда, строгая и серьезная, как и сам Генри, была при этом нежной, любящей матерью и бабушкой, хранительницей очага.

Итог. Дядя Джон поведал нам про полный комплект прапредков со стороны моего отца: Клеменса Воннегута и его жену Катарину Бланк, и Генри Шнуля и его жену Матильду Шрамм, и про прадеда с материнской стороны, хромого ветерана Гражданской войны Петра Либера и его жену Софию де Сен-Андре.

Осталась, следовательно, только одна пара – мои предки, имевшие отношение к занятиям искусством. Это профессор Карл Барус, «первый настоящий преподаватель пения, скрипки и фортепиано в городе», по словам дяди Джона. Женат он был на Алисе Моллман.

Профессор Барус был уважаемым человеком. Помимо частных уроков, он дирижировал оркестром, организовывал концерты хорового пения и другие музыкальные мероприятия. Он был высокообразованным интеллектуалом. Никогда не занимался торговлей или производством, но хорошо зарабатывал уроками и жил в достатке. Сначала, в 50-х годах XIX века, профессор Барус поселился в Цинциннати, где был назначен музыкальным директором местного хора.

В 1858 году доктора Баруса пригласили в Индианаполис для проведения большого музыкального фестиваля с участием любительских хоров из Индианаполиса, Луисвилля, Цинциннати и Коламбуса, штат Огайо. В 1882 году Das Deutsche Haus – Немецкий дом – предложил ему должность музыкального директора Maennerchor – Немецкого землячества – в Индианаполисе. Барус принял предложение и занимал эту должность вплоть до 1896 года.

В том году, на последнем концерте, зал стоя аплодировал маэстро. В знак благодарности за многолетний вклад в музыкальную жизнь всего сообщества он был удостоен серебряного лаврового венка. Последние двенадцать лет своей жизни Карл уделил преподаванию игры на фортепиано и пения нескольким лучшим ученикам и пользовался огромным уважением. Его влияние на музыкальные вкусы и традиции целого города невозможно переоценить. Никто из последователей не смог с ним сравниться.

Карл Барус, профессор и преподаватель музыки, и его жена Алиса Барус произвели на свет другую Алису Барус, которая, по словам дяди Джона, «была прекраснейшей и совершен-

нейшей девушкой во всем Индианаполисе. Она играла на фортепиано и пела; писала музыку, некоторые ее произведения даже были изданы».

Это была мать моей матери.

Да, а Петер Либер, хромой ветеран войны, и его жена София произвели на свет Альберта Либера, который стал индианаполиским пивоваром и бонвиваном.

Это был отец моей матери.

Генри Шнуль, торговец и банкир, и его жена Матильда произвели на свет Нанетт Шнуль, которая, по словам дяди Джона, «была прекрасной, цветущей женщиной с мягким голосом. Она часто пела на различных вечерах. Всегда в хорошем настроении, она располагала к себе неизменным дружелюбием и непосредственностью».

Это была мать моего отца.

А Клеменс Воннегут, вольнодумец и основатель «Скобяных товаров Воннегута», и его жена Катарина произвели на свет Бернарда Воннегута, который, как пишет дядя Джон, «с младых ногтей проявлял художественные наклонности. Он замечательно рисовал, но был скромным и застенчивым. У него не было друзей, он мало интересовался общественными делами. Никогда он не был ярким экстравертом, скорее замкнутым и отрешенным тихоней».

Это был отец моего отца.

Итак, мы добрались до повесы, Альберта Либера, чья эмоциональная несостоятельность, неверие в собственных детей, по моему скромному мнению, в немалой степени повлияли на последующее решение моей матери покончить с собой.

Как я уже писал, Альберт, родившийся в 1863 году, был сыном хромого ветерана Гражданской войны. После того как его отец вернулся в Дюссельдорф, Альберт остался в Индианаполисе управлять пивоварней, которую его отец продал британскому синдикату.

Когда я его впервые увидел, знакомиться было, собственно, не с кем. Он не вставал с постели из-за слабого сердца. С тем же успехом он мог быть марсианином. Что я о нем помню: раззявленный рот. Очень розовый.

В молодости он часто ездил в Лондон.

«Заказывал себе костюмы у портных на Сэвил-роу, – пишет дядя Джон, – был идеальным образчиком викторианского модника: черные пальто из тонкого сукна в стиле принца Альберта, шотландский твид, крахмальные рубашки и воротнички, обувь ручной работы. Он был красив, дружелюбен и общителен. Любил многолюдные сборища, вкусную еду и дорогие вина. Он имел одновременно несколько романов, менял женщин как перчатки и предавался вульгарным развлечениям».

Общий надзор за пивоварнями осуществлял британский офицер-отставник, полковник Томпсон. Он приезжал в Индианаполис раз в год-два, чтобы оценить ситуацию и доложить о ней в Лондон. Вместе с Альбертом они делили большую часть доходов от пивоварни – подделывали счета, продавали товар налево, пускали деньги на липовые рекламные и политические кампании – весь арсенал увода прибылей. Синдикат требовал пятипроцентной доходности вложений – он ее получал. Альберт же со товарищи набивали карманы.

Альберт в отличие от своего отца, консервативного, застенчивого, чрезвычайно скромного и нетребовательного человека, был экстравертом, ярким, шумным и расточительным. Жил он на широкую ногу, в больших домах с массой слуг, лошадей, экипажей, позже покупал самые первые и дорогие автомобили. Он нанял английского дворецкого и держал в доме ливрейных лакеев. Деньги на развлечения друзей тратились без счета: лучшие яства, редкие вина, белые скатерти и роскошные фарфоровые сервизы.

Вскоре за Альбертом закрепилась репутация миллионера, для которого цена не имеет значения. Он присоединился к компании «весельчаков», состоявшей из сыновей городских богачей. Среди них был Бут Таркингтон. «Весельчаки» закатывали фантастические вечеринки. Один из них был владельцем «Английского отеля» на площади Моньюмент-серкл и «Англий-

ской оперы», где проходили представления большинства гастролирующих трупп. Там у него была своя ложа, справа от сцены, из которой можно было пройти прямо за кулисы. Это давало возможность ему и остальным кутилам близко общаться с актрисами, особенно с молодыми хористками.

Иногда они снимали на ночь главный бордель города, – игриво именовавший себя «Отделением университетского клуба», – который располагался на восточной стороне Нью-Джерси-стрит, в двух кварталах к северу от Вашингтон-стрит. «Благородную» атмосферу этого заведения не оскорблял банальный обмен наличностью. Вместо этого его посетители получали ежемесячный счет за обслуживание. Местные «весельчаки» устраивали тут настоящие вакханалии, которые служили для чопорного городского света плодородной почвой для множества слухов. Однако надо признать, что все эти нехорошие излишества из уважения к викторианской морали творились приватно, за закрытыми дверями – для того двери, собственно, и придуманы.

Одним из занимательных обычаев означенной компании было правило посвящать родственные души в так называемый «Клуб МЗ». Церемония заключалась в том, что неофиту завязывали глаза и усаживали на бочку свежего холодного пива из либеровской пивоварни, после чего открывали заранее вбитый в нее кран. Пиво окатывало посвящаемого, который должен был признать, что у него мокрая задница. Затем новоиспеченный член клуба присоединялся к остальным для совместной пирушки. Члены клуба даже заказали у ювелира значки с вензелем МЗ, чтобы носить их на лацкане пальто. Они также были большими поклонниками спорта и часто заказывали отдельный пультмановский вагон для поездок на чемпионские бои по боксу, скачки и другие соревнования. Они не употребляли наркотиков, следили за речью и уважали порядочных женщин. Всегда были подобающе одеты, вели себя вежливо и воспитанно.

И вот этот эдвардианский франт женился на красавице музыкантше Алисе Барус в 1885 году. У них родились трое детей, старшей была моя мать. А потом, когда ей было шесть лет, Алиса Барус скончалась от пневмонии.

«Вскорости, – пишет дядя Джон, – Альберт женился на весьма привлекательной, но крайне своеобразной женщине, которая так и не приняла семью Альберта и его близких друзей. Звали ее Ора Д. Лейн. Она была родом из Зейнсвилля, Огайо, виртуозно играла на скрипке. Некоторые звали ее О.Д., но большинство прозвало Одержимой. Для детей Альберта она стала злой мачехой, прямо как в сказке. Она придумывала для них изощренные издевательства. Она ненавидела их и мучила так сильно, что все трое не могли избавиться от полученных психологических травм всю оставшуюся жизнь. Прежде им доставалась только любовь и нежность, а теперь они подвергались унижению и обидам. О.Д. терроризировала и самого Альберта, угрожала убить его, спала с пистолетом под подушкой – короче, была настоящей ведьмой, демоном в юбке. Незлобивый Альберт терпел ее, сколько мог, и в итоге развелся; однако он был вынужден выплатить ей большие алименты, которые истощили и без того небольшой капитал. Копить он никогда не умел, жил на широкую ногу, рассчитывая на пивоварню как на щедрый и надежный источник дохода».

Однако Альберт не унывал и скоро женился в третий раз, на невзрачной вдове по имени Мида Лэнгтри, канадке, у которой была дочь от первого брака. Альберт удочерил девочку и переименовал ее в Альберту.

Мида была много младше Альберта. Она приходилась почти ровесницей его дочери Эдит.

«Вскоре после третьей и последней женитьбы Альберта, в 1921 году, был принят «сухой закон», – продолжает дядя Джон. – Пивоварню закрыли, Альберт потерял место, и с тех пор дела становились все хуже и хуже, пока наконец он не умер в относительной – по его меркам – бедности. Последние годы его жизни семья держалась на плаву за счет распродажи недви-

жимости, включая его прежнюю резиденцию – прекрасный дом, расположенный на большом куске земли на холме над рекой Уайт и дальше к северу по бульвару Кесслера и Шестьдесят пятой Уэст-стрит. Сейчас этот участок, должно быть, стоит не меньше миллиона долларов».

Как и все богачи, Альберт был владельцем разного рода ценностей, приобретенных не с целью вложения денег, а скорее как атрибуты высокого положения в обществе – разные акции, картины, дорогой фарфор, мебель и другие предметы искусства. Многое пришлось продать, но после смерти его земли оценили в 311 607 долларов 65 центов. Из всего состояния Петера Либера его внукам достались лишь малая часть Альбертова имения и несколько трастовых фондов, учрежденных Петером на основе пакетов акций Торгового банка. Вышло, что цикл «от голытьбы до голытьбы» был пройден всего-то за три поколения благодаря «сухому закону» и экстравагантной недалёковидности Альберта.

Однако, еще когда Альберт пребывал на коне, его дочь Эдит – мать К. – вышла замуж за Курта Воннегута. Произошло это 22 ноября 1913 года, и они были замечательной, очень красивой парой.

Как я уже говорил, мать моего отца, Нанетт, была приветливой и общительной, ее мало интересовали искусства, кроме, может быть, музыки – а отец моего отца, Бернард, считался в семье странным, поскольку с раннего детства проявлял способности к рисованию. Он был человеком замкнутым, и жизнь в Индианаполисе делала его несчастным.

Дядя Джон как-то сказал мне, что для моего деда, возможно, ранняя смерть стала облегчением: «Он убрался подальше отсюда». Бернард умер от рака кишечника в 53 года, я уже старше его на пять лет. Это случилось в 1908 году, он не застал своих внуков. Он даже не успел женить кого-нибудь из своих детей.

«Как и его братья, – пишет дядя Джон, – Бернард пошел учиться, сначала в германо-английскую школу, потом в индианаполисскую среднюю школу, которая в ту пору располагалась на углу Пенсильвания и Мичиган-стрит. Друг его отца Александер Метцгер разглядел в нем художественный талант и посоветовал дать мальчику высшее образование. Бернарда отправили в Бостон, в Массачусетский технологический институт, учиться архитектуре. Потом он продолжил образование в Ганновере, в Германии, после чего несколько лет готовил эскизы в известной фирме в Нью-Йорке.

Вернувшись в Индианаполис в 1883 году, Бернард занялся архитектурой, сначала сам по себе, потом организовал бюро совместно с Артуром Боном – позже оно превратилось в знаменитую фирму «Воннегут и Бон», которая существует по сей день. Эта фирма спроектировала и сопровождала строительство множества частных и общественных сооружений Индианаполиса, включая здания первой Торговой палаты, Атенеума, Музея искусств им. Джона Герона, магазин «Л.С. Эйрс», здание «Флетчер траст» и многих других.

Он с наслаждением читал поэмы Гейне. Его вообще интересовало все, связанное с искусством, прежде всего – немецким. Он с семьей часто жил за рубежом. Своих сыновей еще совсем юными он отправил учиться в Страсбург. Всего детей у него было трое – Курт родился в 1884-м, потом, в 1888-м, Алекс, и, наконец, Ирма в 1890-м.

Бернард практически не участвовал в общественной жизни города, если не считать профессиональных обязанностей. Свое время он полностью посвятил искусствам. Любимыми его клубами были «Портфолио» и «Казино “Лира”». В первом собирались художники, скульпторы, архитекторы и писатели. Раз в месяц клуб устраивал обеды и диспуты, его члены считали себя хранителями эстетического сознания общины. «Казино “Лира”» было сообществом музыкантов, они устраивали закрытые концерты классической музыки. Бернард принимал активное участие в жизни обеих организаций, впоследствии в них вступил и его повзрослевший сын Курт. Жена Бернарда, Нанетт, получила хорошее образование, в том числе музыкальное, но не разделяла интересов мужа.

Когда их дети поднабрались жизненного опыта, они согласились, что у их родителей, по сути, было мало общего. Курт и Ирма были близки к отцу, а вот Алекс напоминал, скорее, мать.

Самого Бернарда трудно было назвать крепким мужчиной в отличие от его братьев. Он постоянно страдал от несварения желудка и головных болей.

Мне вот тоже ближе несчастный Бернард, хотя я не могу пожаловаться на здоровье и – стучу по дереву – я редко болею. Бессонницей не страдаю, пищеварение отменное. Согласно семейному преданию, Бернард Воннегут еще мальчишкой, работая в отцовском скобяном магазине, как-то расплакался. Когда его спросили, в чем дело, он заявил, что не хочет работать в магазине. Сказал, что хочет быть художником.

Ребенок с такими наклонностями в такой семье и в таком городе определенно был чудом природы.

Дальше в предании говорится, что Бернард поначалу увлекся театром, хотел стать художником-оформителем, но узнал, что на жизнь этим не заработаешь, и пошел в архитекторы.

Говорят, что он был счастливым, трудолюбивым и даже общительным в свои нью-йоркские годы. Но потом семья решила, что ему пора вернуться в Индианаполис и найти себе жену из приличной немецкой семьи. Он поддался давлению притяжения невероятной массы респектабельности, которую за тридцать лет набрали в американской целине его отец и мать.

Ему следовало ослушаться, обойтись без головной боли и несварения. Ему следовало остаться в Нью-Йорке.

Ему следовало поселиться в доме, в котором я сейчас живу. Тогда этот дом уже стоял.

В этом громадном, богатом, бурлящем и многоязыком мире он неизбежно нашел бы много друзей, таких же одаренных, как и он сам. В Нью-Йорке он, должно быть, много шутил, говоря о творчестве, произносил бы романтические тирады о родовых схватках при появлении на свет новых произведений искусства и так далее. Тут для него нашлась бы подходящая аудитория.

Но Бернард вернулся в Индианаполис, где занятия искусством считались подменой реальной жизни салонными развлечениями, и все, что радовало или огорчало его, все, что он ценил, было для его семьи пустым звуком. Поэтому он предпочел молчание. Он умер.

Но ведь его жена не была чужда музыке, она прекрасно пела? Да, но ее не интересовало создание новой музыки. Она была провинциальным подобием фонографа, воспроизводила мелодии Старого Света, где жили настоящие творцы, где их ценили, где они были нужны.

Возможно, он даже был гением, плодом редкой мутации.

В жизнеописании моих предков блистают одни лишь мужчины, какими бы нелюдимыми и скрытными они ни были, как бы ни тяготила их жизнь, если вспомнить о моем деде Бернарде. И тому есть свои причины.

«К сожалению, крайне мало известно о двух бабках и четырех прабабках К., – пишет дядя Джон. – Практически все, кто близко знал их, уже умерли. Они жили в Викторианскую эпоху, когда мир принадлежал мужчинам. Женщинам полагалось сидеть дома, их мало кто замечал. Они не писали мемуаров, им полагалось довольствоваться отраженной славой мужеских доблестей – самой почетной из которых считалось накопление денег.

Однако они рожали детей – дар, недоступный мужчинам. Они безупречно вели хозяйство, прививали своим чадам достойные манеры и нравственность.

Мужчины были так сильно заняты борьбой за материальное благосостояние, что на семьи у них почти не оставалось времени. Когда они успевали зачать детей, вопрос отдельный. Правда, стоит заметить, что мужчины были эмоционально и психологически настроены утвердить свое положение в новом окружении: добиться успеха, проявить себя как личность. А успех выражался в наличии денег. Богатство означало уважение.

В XIX веке мигранты из Западной Европы бежали от голода – физического и социального. Приехав в Америку, они нашли тут скатерть-самобранку Среднего Запада и принялись

отъедаться. Кто кинет в них камень? Их способности, умения, их тяжкий труд позволили создать Империю. Вся слава досталась мужчинам, но их женщины, тихие, незаметные, помогли заложить ее фундамент».

Я больше не буду прерывать повествование дяди Джона, осталось описать лишь моих отца и мать.

Отец К. – Курт, старший сын Бернарда и Нанни, – очень походил на отца характером и манерами, но разительно отличался внешне. Бернард был темноволосым с залысинами бородачом, Курт же – изящным голубоглазым блондином. Длинные тонкие пальцы, золотые локоны, очень красивое лицо – впрочем, без тени женственности. Подобно отцу, Курт был художником, рисовал, писал маслом, работал с глиной. И конечно, он был зрелым, талантливым архитектором.

С 1890-го по 1898-й Курт Воннегут учился в начальной школе № 10, затем он около года посещал Шортриджскую среднюю школу, после чего его на три года отправили в Американский колледж в германский Страсбург. Это была маленькая частная школа, которую профессор Госс организовал специально для мальчиков из Америки. Хорошая школа, по образцу немецкой гимназии, со строгой дисциплиной и высокими стандартами образования. В ней Курт изучил немецкий язык и немецкие обычаи. В Страсбурге была опера и симфонический оркестр. Всю свою жизнь Курт был большим поклонником музыки, за годы учебы он хорошо освоил весь классический репертуар.

В девятнадцать лет Курт был готов к высшему образованию и поступил в Массачусетский технологический институт, где изучал архитектуру и в 1908 году получил степень бакалавра. В тот год скончался его отец. Вместе с овдовевшей матерью и сестрой Ирмой Курт уехал в Берлин, где продолжил обучение у лучших мастеров. В 1910 году он вернулся в Индианаполис и присоединился к бывшему партнеру отца, Артуру Бону, заняв должность в респектабельной фирме «Воннегут и Бон». Его карьера обещала быть успешной и безоблачной. Воннегуты были одним из самых уважаемых семейств города. И весьма богатым.

Благодаря своей красоте и безупречному поведению Курт, несколько отрешенный и разборчивый, вскоре приобрел множество друзей. Он вступил в Университетский клуб, самый элитарный мужской клуб города, который располагался тогда на углу улиц Меридиан и Мичиган. В лучших домах города Курт был желанным гостем: заботливые мамы считали его отличной партией для своих дочерей, поэтому выбор у него был богатый. После пары лет счастливой и беззаботной жизни Курт начал ухаживать за Эдит Либер, которая была на четыре года младше его, окончила школу мисс Шипли в Брин-Мар и недавно вернулась из-за границы. На тот момент ее отец, Альберт Либер, находился на пике успеха и был одним из богатейших людей города. Он жил в прекрасной усадьбе, которая раскинулась на нескольких сотнях акров на северо-западе города, в огромном новом доме.

Эдит была писаной красавицей, высокой и изящной. Курт всегда восхищался и гордился ее красотой. Они полюбили друг друга, обручились и поженились 22 ноября 1913 года. До самой смерти Эдит через тридцать один год они сохраняли пылкое чувство. Их брак одобрили обе семьи; при этом клан Шнуль-Воннегут проявил определенную снисходительность. В неписаной табели о рангах индианаполисского общества, особенно в немецкой среде, семейство Шнуль-Воннегут стояло чуть выше семейства Либер-Барус.

Эдит была высокой женщиной, с тонкой точеной фигурой. Волосы у нее были скорее каштановыми, чем рыжими, кожа очень светлая, черты лица правильные, глаза сине-зеленые. Движения ее были полны достоинства и благородства. Она любила веселье и охотно смеялась. Ее отрочество было отравлено появлением злобной мачехи, но Эдит хватило духу и мужества выдержать это испытание, хотя оно и оставило шрамы на ее сердце.

До обручения с Куртом и последующей свадьбы она успела обручиться с несколькими молодыми людьми, но всякий раз разрывала помолвку. Все претенденты на ее руку были евро-

пейцами; с 1907-го по 1913-й Эдит жила по большей части за границей. Слепительная красавица и дочь американского миллионера, она не испытывала недостатка во внимании.

Впервые она обручилась с Кеннетом Доултоном, британцем, внуком сэра Генри Доултона, отпрыском старинного рода, много поколений владевшего знаменитой фабрикой фарфора «Ройял Доултон» в Ламбете. Они познакомились в 1908 году, на закате эдвардианской элегантности и утонченности, когда богатые люди еще могли без стеснения наслаждаться выгодами своего положения. Доултон был приятным молодым человеком, он принадлежал к обеспеченной части среднего класса и мог похвастаться аристократическим происхождением. Это был очаровательный бездельник, который, разумеется, надеялся, что Альберт, отец Эдит, не покусится на приданое для своей дочери. Доходы Альберта в те времена были приличными, но он не собирался дробить свой капитал, а Доултон и думать не хотел о переезде в Индианаполис и превращении в пивовара. Он хотел жениться на Эдит, получить от ее отца деревенское поместье и небольшой домик в Лондоне и жить себе в старой доброй Англии. Эдит была против и разорвала помолвку.

В Первую мировую Доултон стал младшим гвардейским офицером в Первом британском экспедиционном корпусе и погиб в первые же месяцы войны.

Эдит покинула Британию и перенесла свою штаб-квартиру из Лондона в Дюссельдорф. С 1909-го по 1913-й она жила в основном в старинном рейнском имении своего деда Петера, который уже разменял девятый десяток. Петер уже не был генеральным консулом Соединенных Штатов, но по-прежнему поднимал над своим дворцом звездно-полосатый флаг и до смерти оставался американским гражданином. Однако его дети, незамужняя Лаура, Эмилия и Рудольф, стали гражданами Германии. Рудольф выбрал военную карьеру, окончил кадетское училище и дослужился до уланского подполковника. Его полк был расквартирован под Дюссельдорфом. Эмилия вышла замуж за офицера немецкой армии. Таким образом Эдит оказалась в обществе молодых офицеров дядинного полка. В то время офицеры кайзеровской армии считались частью элиты, пользовались общественным уважением и массой привилегий. При этом офицерское жалованье было более чем скромным. Если у такого офицера не было собственных источников дохода, ему оставалось только найти себе богатую жену. Причем он не мог жениться без согласия командира полка, а согласия он не получал, пока должным образом не проверялись социальное положение, репутация и размер приданого невесты.

Первым серьезным кавалером Эдит в Германии стал улан, лейтенант Пауль Гент. Довольно скоро Эдит отвергла его ухаживания. Затем ей сделал предложение капитан Отто Фогт. После нескольких церемонных свиданий это предложение с согласия ее семьи и его командира было принято. Капитан, в яркой форме, с кивером и эполетами, был неотразим.

Однако не в первый раз настоящая любовь наткнулась на острые шипы реальности. Возникли проблемы с приданым, и перед Эдит замаячила безрадостная перспектива превращения в обычную офицерскую жену. Казарменная жизнь, субординация, строгий распорядок дня – капитан Фогт был из тех прусских офицеров, что отлично смотрятся на коне, в парадной форме, лихо щелкают каблуками, но очень и очень отличаются от добродушных, мягких и либеральных американских мужей, которых знала Эдит. Она колебалась. Но Альберт позволил ей заказать приданое, что она и сделала. На постельном белье и скатертях были вышиты инициалы Л и Ф. Германские Либеры считали Эдит и Отто замечательной парой.

Однако Эдит пребывала в сомнениях. Как и Альберт, которому не нравилась сама идея разбазаривания приданого. К тому же Эдит не хотела оставаться в Германии насовсем, а капитан не испытывал особого энтузиазма по поводу работы в пивоварне. В конце концов помолвка была разорвана по обоюдному согласию и Эдит вернулась в Индианаполис. Отец построил для нее небольшой живописный коттедж на отвесном берегу реки Уайт. В доме все отвечало ее вкусу – рояль в гостиной, камин, мягкие кресла и кушетки. Коттедж стал ее убежищем, здесь она жила, когда искала уединения, то есть почти постоянно. Однако со временем Эдит сумела

найти общий язык с отцом, его третьей женой Мидой и их маленькими детьми. Она вновь начала общаться со старыми друзьями, выходить в свет, приобрела множество поклонников. В нее отчаянно влюбился Курт Воннегут-старший, и она ответила ему взаимностью. Их союз горячо одобрили обе семьи.

Свадьбу Курта и Эдит в Индианаполисе запомнили надолго. Она стала самым пышным празднеством, которое этот город видел, и, наверное, самым дорогим из всех, что он увидит в будущем. Узы брака освятил преподобный Фрэнк С.К. Уикс, священник унитарийской церкви. На церемонии собрались члены двух семей – Либеров и Воннегутов, а также стайка прелестных подружек невесты и несколько красавцев шаферов. Стоит упомянуть, что три поколения этих семей и так представляли собой два многочисленных клана, но у них также было порядочно друзей и родственников. Либеры и Воннегуты вместе с Холльвегами и Майерами, Северинами и Шнуллями, Раухами и Френцелями, Пантцерами, Хауайзенами, Киппами, Кунами, Метцгерами были самыми влиятельными немецкими семьями в городе. Все это были общительные, доброжелательные и сентиментальные люди. Они любили свадьбы, особенно между представителями дружественных кланов, с общим культурным и историческим наследием. Свадебное пиршество было организовано в соответствии с немецкими традициями: еда, напитки, танцы, музыка, песни. Альберт решил устроить небывалый прием в честь свадьбы дочери.

В 1913 году отель «Клейпул», расположенный на углу Вашингтон-стрит и Иллинойс-стрит, в самом центре города, считался одной из лучших гостиниц на Среднем Западе. Он был построен всего 10 лет назад и все еще блистал свежестью. Восемь этажей, пять сотен номеров. Главное фойе – 25 на 25 метров, 20 метров высотой, богато изукрашенное по моде того времени. Бельэтаж занимал громадный бальный зал, 40 на 25 метров. Позже он стал называться «Залом Райли» в честь нашего поэта-земляка Джеймса Уиткомба Райли. Вдоль бельэтажа со стороны Иллинойс-стрит тянулся ряд отдельных обеденных кабинетов, раскрашенных красным с золотом в стиле Людовика XV. Владельцем этого блистательного сооружения был Генри Лоуренс, близкий друг Альберта Либеры, так что Альберт решил отметить свадьбу Эдит и Курта в «Клейпуле». Генри Лоуренс решил показать, на что способен, – и показал.

Помимо множества родственников кланов Либеров и Воннегутов, у Альберта было немало друзей, часть которых нужно было обязательно пригласить. На приглашение откликнулось около шестисот человек, включая полковника Томпсона, который приехал аж из Лондона в качестве представителя британского синдиката.

В назначенный день в «Клейпуле» собрались гости: мужчины в безупречных фраках, дамы в длинных кружевных бальных платьях. Повара отеля потратили на подготовку несколько дней, для гостей были накрыты гигантские столы с большим выбором кушаний. В бальном зале играл большой оркестр. Специально к свадьбе была сооружена барная стойка длиной в 60 футов с разнообразными напитками. Свадебные торжества завершились лишь к шести утра следующего дня. Никогда еще, ни до, ни после этого пиршества уважаемые и благовоспитанные представители довольно скучной общины не упивались до потери сознания в таком количестве и в столь короткое время. Употреблять крепкие напитки после нескольких фужеров шампанского все равно что лить бензин в костер. Около семидесяти пяти джентльменов и дюжина дам дошли до невменяемого состояния. Но Генри Лоуренс подготовился к этому. Потерявших координацию и способность к передвижению гостей ждали мягкие постели в комнатах наверху, куда их мягко препровождали официанты и портье. Некоторые из утративших стойкость гостей пребывали в объятиях Морфея еще три дня кряду.

Праздник получился грандиозный, но Воннегуты и Шнулли посчитали его достаточно вульгарным и не постеснялись высказать свое неодобрение. Некоторые городские шутники, которые знали, как Альберт ведет дела, так ответили на разговоры о больших тратах на засто-

лье: «Да ладно вам! Альберт скорее всего оплатит все из кассы пивоварни, так что гулянка за счет синдиката, хоть он того и не знает!»

Это была заря XX века. Через год началась Первая мировая, а потом был принят «сухой закон». Роскошный прием закончился, чтобы уже никогда не повториться.

Брак Курта и Эдит был счастливым и уютным – как все счастливые браки. Поначалу они жили в умеренной роскоши, держали слуг, гувернанток и ни в чем себе не отказывали. Правда, они оба были несколько экстравагантными. Путешествовали и развлекались, если были нужны деньги, они продавали акции или брали займы. С принятием «сухого закона» Альберт не мог им больше помогать. Накопленного экономического жирка и гонораров Курта хватило на то, чтобы безбедно прожить 1920-е. Мать Курта, Нанни Шнуль-Воннегут, умерла в 1929 году, оставив Курту его долю скромного наследства, что перешло к ней от отца, Генри Шнулля. Вскоре они его истратили. Курт приобрел участок на восточной стороне Норт-Иллинойс-стрит, в районе Сорок пятой улицы. Там он построил большой и очень красивый кирпичный дом по собственному проекту.

В 20-х и 30-х годах они отдали старших детей в частные школы: Бернарда в школу Парк, Алису в Тьюдор-Холл – школу для девочек. Затем Бернард поступил в Массачусетский технологический институт, получил степень бакалавра, а после защитил докторскую диссертацию по химии. Он стал и по сей день остается серьезным ученым. Алиса вышла замуж за Джеймса Адамса. Но когда К. вошел в пору юности, семья Воннегутов уже испытывала серьезные финансовые проблемы. Он застал лишь невзгоды 1930-х. Родители перевели его из частной школы в обычную начальную школу № 43, потом в Шортриджскую среднюю школу. Его отправили в Корнеллский университет со строгим напутствием – не записываться ни на какие «легкомысленные» лекции, уделять все время практичным наукам, особенно физике, химии и математике.

Его родителям пришлось нелегко. В период Великой депрессии строительство почти не велось, у Курта не было заказов. Семья начала растрачивать капитал – последнее средство, к которому панически боится прибегнуть любой нормальный буржуа, ведь за ним неминуемо следует крах.

Стало ясно, что они больше не могут содержать свой огромный дом. Здание, которое было несколько раз перезаложено, продали. Оно сохранилось, теперь там живет Эванс Вуллен III, представитель известного и уважаемого семейства, выдающийся архитектор. Добавив к средствам от продажи дома скудные остатки своих накоплений, Курт и Эдит приобрели участок земли в местечке Уильямс-Крик. Этот пригородный район в девяти милях от Моньюмент-серкл тогда активно застраивался частными домами – многие обеспеченные горожане переселялись туда из населенного центра города. В 1941 году Курт спроектировал и построил там дом, поменьше, поскромнее, но тоже из кирпича. Дом окружали девственные леса – дубы, клены и вязы. Новое жилище получилось замечательным, оно было отлично обставлено, везде чувствовался художественный вкус Курта. В подвале он устроил небольшую керамическую мастерскую, построил печь для обжига, из которой порой выходили красивейшие вещицы. Семья жила тихо, скромно, без особых развлечений и путешествий.

Они продолжали расходовать и без того небольшой капитал. У Курта оставались две корпоративные облигации номиналом в 1000 долларов каждая – материнское наследство. Эдит, которой не хотелось расставаться с былыми привычками, предложила мужу съездить за границу. Они продали облигации, съездили на три недели в Париж и вернулись с пустыми карманами. Но это был редкий пример мотовства – то, что французы называют «шиком», последний грандиозный парад.

А дальше была очередная война, и вновь Америка воевала с Германией. Двадцатичетырехлетний Бернард избежал призыва, а девятнадцатилетний Курт был не так удачлив. Рядовой Воннегут отправился в тренировочный лагерь. Для Эдит это тревожное известие стало

настоящим потрясением. На фоне тяжелых финансовых проблем перспектива потерять сына в надвигающемся пламени войны переполнила ее чашу горестей. Она замкнулась в своем унынии. Отчаянно нуждаясь в деньгах, Эдит пыталась писать рассказы для газет и журналов, но эта попытка была пустым, бесплодным начинанием. Она потеряла надежду. В мае 1944 года Курт-младший получил отпуск и собирался провести День матери дома, со своей семьей. За несколько часов до его приезда, ночью 14 мая 1944 года, Эдит скончалась во сне, ей было пятьдесят шесть лет. Причиной смерти была названа передозировка снотворного, возможно, непреднамеренная. Согласно описи, все ее имущество на тот момент оценивалось в десять тысяч восемьсот пятнадцать долларов и пятьдесят центов. Это все, что осталось от состояния ее деда и скромного отцовского наследства.

Она не дожила каких-то двух месяцев до рождения своего первого внука, сына Алисы. Всего своей бабушки не увидели двенадцать внуков. Через семь месяцев после ее смерти К. попадет в плен к немцам во время Арденнской операции и остаток войны проведет в лагере в Дрездене.

После смерти Эдит Курт замкнулся и лет десять жил уединенно, подобно отшельнику. Лишь его сестра, Ирма Воннегут-Линденер, время от времени приезжала к нему из Гамбурга – настоящего, немецкого Гамбурга – и проводила с братом недели, иногда месяцы напролет. Они были очень близки и привязаны друг к другу. Ирма принимала его причуды, уважала его нелюдимость и упрямую самостоятельность, так что ее участливость проявлялась ровно в той степени, которую Курт был согласен терпеть. Родственные души, они были во многом похожи друг на друга, даже внешне: светлые волосы, голубые глаза. Оба свободно говорили по-немецки и испытывали глубокое уважение к немецкому культурному наследию – музыке и литературе. Курт стал скептиком и фаталистом – немцы называют такие взгляды на жизнь «Weltschmerz» – мировая скорбь.

Курт старел, накопления таяли, он более не мог содержать свой дом, свой последний оплот скромной элегантности. Он продал его, получил на руки около десяти тысяч долларов и купил на них небольшой домик за городом в округе Браун, к северу от Нэшвилла, примерно в двадцати пяти милях от Индианаполиса. Округ Браун до сих пор остается пасторальным, почти нетронутым уголком, который зато может похвастаться высочайшими холмами Среднего Запада и великолепными видами. Тут любят селиться художники. Тут нашел себе уединенное пристанище и Курт. Компанию ему составляли книги, проигрыватель – подарок сестры – и любимые записи классической музыки: в основном Моцарта, Бетховена, Вагнера, Брамса и, конечно, Рихарда Штрауса. Особенно он любил «Четыре последние песни» Штрауса, он слушал их снова и снова. Эти песни идеально отвечали его настроению.

Несмотря на развившуюся в последние годы эмфизему, Курт продолжал много курить и умеренно употреблять виски. Организм его медленно угасал, пока наконец врачи не обнаружили у него опухоль в одной из долей легкого. Ему предложили операцию, однако Курт мудро отказался. Опухоль росла, он слабел, и ему становилось все труднее дышать. Он отказывался ложиться в больницу или хотя бы соблюдать постельный режим – утром он вставал, одевался, очень скромно завтракал, потом лежал на диване у камина и читал или слушал свою любимую музыку в полном одиночестве. Не желая нанимать сиделку, обслуживал себя сам, никогда не жаловался и не страшился смерти. Ближе к концу за Куртом присматривала его старая верная служанка Нелли. Лишь когда болезнь приковала его к постели, он позволил приходящей медсестре ухаживать за собой. Умер он тихо, во сне, 1 октября 1957 года – в полном одиночестве. Два дня спустя его похоронили на семейном участке Воннегутов на кладбище «Краун-Хилл», рядом с женой Эдит и родителями, Бернардом и Нанетт.

Этими словами заканчивается эссе дяди Джона, если не считать высокопарной коды, которая далеко не всегда соотносится с фактами. Цитируя его труд, я пропускал многое, но ничего из того, что сделало меня таким, какой я есть. Авторские права на книгу сейчас принад-

лежат внуку дяди Джона, моему двоюродному внучатому племяннику Уильяму Рауху. Сейчас он живет тут, в Нью-Йорке, работает в администрации мэра Эдварда Коха. Видите, мы плодимся и размножаемся!

Жалел ли я в детстве об утраченном богатстве нашей семьи? Ни капельки. Мы жили как минимум не хуже семей остальных моих одноклассников, а если бы у нас опять завелись слуги, дорогая одежда, билеты на океанские круизы и германские родственники в настоящих замках, я бы просто потерял всех своих друзей. Моя полубезумная мать любила говорить об окончании Депрессии, когда я верну себе достойное положение в обществе, буду плавать в бассейне Индианаполисского атлетического общества вместе с чадами других уважаемых семей города, буду играть с ними в теннис и гольф на площадках элитарного Вудстокского клуба. Она не понимала, что для меня отказаться от своих товарищей из 43-й школы, школы им. Джеймса Уиткомба Райли, кстати, означало отказаться от самой жизни. Я до сих пор стесняюсь достатка, не могу примириться с тем, что меня относят к преуспевающему классу, в который так стремились вернуться мои родители.

Как-то раз на вопрос о путешествиях Генри Дэвид Торо ответил: «Я объездил весь Конкорд». Конкорд, видите ли, был его родным городом. Внимание к этой цитате привлек один из моих замечательных учителей в средней школе. Торо, как мне кажется, описывал мир, увиденный глазами ребенка. То же касается и моих книг. Его фраза о Конкорде передает детское восприятие, каким оно, по-моему, должно быть, города или деревни, где человек родился. Там, поверьте, хватит чудес и тайн на целую человеческую жизнь, где бы вы ни родились.

Замки, говорите? В Индианаполисе их было полным-полно.

Мой брат Бернارد очень любит один рассказ, в котором говорится о фермере, решившем съездить в ближайший большой город, Сент-Луис. Дело было, скажем, в 1900 году. И вот он возвращается через неделю на родную ферму и начинает взахлеб рассказывать об увиденном, какие там чудны2е машины и не менее чудны2е люди.

Но когда его начинают расспрашивать о той или иной достопримечательности Сент-Луиса, оказывается, ему нечего ответить. В финале он признается:

– Если честно, я и на поезд-то не решился сесть...

Мой отец, по существу, никогда не знал, о чем со мной говорить. Такова жизнь. Мы почти не проводили времени вместе, наше общение было скудным и отрывочным. Но его младший брат, мой дядя Алекс, который окончил Гарвард и стал страховым агентом, был открытым, внимательным и щедрым человеком, моим идеальным старшим другом.

Тогда он был еще и социалистом, поэтому среди книг, что он дал мне, старшекласснику, оказалась и «Теория праздного класса» Торстейна Веблена. Я прочел ее от корки до корки и, несмотря на юный возраст, понял и полюбил эту книгу, ведь она насмеялась над пустой мишурой и бесцельным роскошеством, к которому мои родители, особенно мать, так хотели вернуться.

Интересно, что моя мать пыталась заниматься ремеслом, которое впоследствии стало моей профессией – писательством.

Старый добрый обычай американского среднего класса – когда сын должен положить жизнь на то, чтобы воплотить некоторые мечты своей разочарованной матушки, – уже не так актуален. Времена меняются.

Вот финальный аккорд истории моей семьи, описанной дядей Джоном:

«Очень важно отметить, что в четырех поколениях предков К. мы не встретили ни слабых духом, ни даже отчасти психически или нервнобольных людей. Все вместе они оставили К. богатую коллекцию генов на выбор. Как эти гены отразились на его взрослой жизни – ему решать. Но во имя предков, что оставили родные земли ради Америки, ему нужно помнить наставление Гете: «“Пусть же он сам поведаст о себе”».

Я воспринял этот совет со всей серьезностью. Вот как он звучит в переводе: «Отцовское наследство не станет твоим, пока ты не докажешь, что достоин его».

Как я потерял невинность

История моя такова. Я покинул Индианаполис, город, в котором предками для меня было приготовлено много преимуществ и удобств. Покинул потому, что преимущества и удобства были основаны в конечном итоге на деньгах, а деньги кончились.

Я мог бы остаться, если бы поступил, как отец, женился бы на самой богатой невесте города. Но я женился на бедной девушке. Я мог бы остаться, если бы мой отец не сказал мне: становись кем угодно, только не архитектором. Отец и старший брат, химик, уговаривали меня заняться химией. Я был не против заниматься архитектурой, причем в Индианаполисе. Я стал бы индианаполиским архитектором в третьем поколении. Таких много не наберется.

Но отец мой был полон гнева и печали после того, как он, архитектор, лишился работы в годы Великой депрессии. Он убедил меня, что я тоже был бы несчастлив, если бы выучился на архитектора.

Итак, в 1940 году я начал изучать химию в Корнеллском университете. Еще в старших классах я был редактором «Шортридж дейли эхо», одной из двух ежедневных школьных газет в нашем округе, поэтому меня с легкостью взяли в коллектив «Корнелл дейли сан».

Дети, которые теперь управляют газетой «Сан», попросили меня выступить с речью на ежегодном банкете в Итаке, штат Нью-Йорк, 3 мая 1980 года. Кстати, университетская газета «Сан» юридически никак не связана с самим университетом, и, когда эта книга выйдет из печати, в 1981-м, газете исполнится сто лет.

И вот сей дряхлый выпускник, бросивший пить, решил, перекрикивая звон льда в бокалах, сказать следующее:

– Добрый вечер, дорогие соотечественники!

Вам следовало пригласить более сентиментального оратора. Сегодня сентиментальный вечер, а моя сентиментальность не поднимается выше разговора о верных псах.

Лучший из ныне живущих авторов, который работал в «Сан», безусловно Элвин Брукс Уайт, выпускник 1921 года. 11 июля этого года ему исполнится восемьдесят один. Можете отправить ему открытку. Он сохранил кристально ясный ум, но проявляет сентиментальность по отношению к Корнеллу, а не только к собакам.

Мне тут нравилось две вещи: «Сан» и пушки на конной тяге. Да, в мое время пушки еще тянули лошади. Это должно дать вам определенное представление о моем возрасте. В ноябре этого года мне стукнет пятьдесят восемь. Можете и мне прислать открытку. Мы не запрягали лошадей в лафеты – понимали, что Гитлера этим не напугаешь. Вместо этого мы их седлали, воображали, что воюем с индейцами, и так целый день катались.

Я не очень любил это место, но виноват в этом не Корнелл – говорю специально, чтобы какая-нибудь председательница комитета выпускников не разрыдалась из-за моих слов. Виноват мой отец. Он сказал, что мне нужно стать химиком, как мой брат, чтобы я не тратил свое время и его деньги на предметы, которые он считал побрякушками, – литературу, историю, философию. У меня не было склонности к науке. И что гораздо хуже: все члены моего студенческого братства были инженерами.

Я, наверное, полюбил бы эту дыру, появись у меня возможность изучать и обсуждать более высокие материи. И тогда я бы не стал писателем.

Вскоре у меня накопилась масса «хвостов». Из-за войны курсы читались по ускоренной схеме. Мой лектор по органической химии был моим напарником в лабораторных по биохимии. Его это бесило.

В один прекрасный день я слег с пневмонией. Эта болезнь такая... сонная. Пневмонию когда-то звали «другом стариков». Она может быть и другом молодых. Ты чувствуешь сонли-

вость и думаешь, что пришел твой конец. Насколько я понимаю, жизнь моя продолжилась, но Корнелл я покинул и не возвращался до сегодняшнего дня.

Добрый вечер, друзья-корнеллцы. Я приехал сюда, чтобы поздравить «Корнелл дейли сан» со столетним юбилеем. Чтобы вы почувствовали контекст: газета «Сан» на сорок лет моложе саксофона и на шестьдесят лет старше электрогитары.

Для меня редакция была семьей – в ней работали и женщины. Раз в неделю мы давали сокурсницам сверстать женскую страничку, но я не смог познакомиться ни с одной из них. Они были постоянно возбужденные, злые на кого-то. Наверное, что-то происходило в женском клубе университета.

Мне жаль вас, сановцы сегодняшних дней. Жаль, потому что на вашу долю не хватило великих лидеров, о которых можно было бы писать, – Рузвельта и Черчилля, Чан Кайши и Сталина на стороне добра и Гитлера с Муссолини и императором Хирохито на стороне зла.

Ну да, нам грозит новая мировая война и новая великая депрессия, но где вожди нового времени? Вам досталась лишь кучка обычных людей, прячущих руки за спиной.

Вот что нам нужно сделать, чтобы восстановить сияние тех, кто ведет нас к катастрофам, выводит из катастроф и ввергает в новые: запретить телевидение и подать пример своим детям, еженедельно поклоняясь серебристым экранам храмов кинематографа.

Мы должны видеть движущиеся и говорящие образы наших вождей лишь раз в неделю, в новостных киножурналах. Только так вожди поднимутся в наших головах до уровня кинозвезд.

Будучи студентом Корнелла, я не знал и знать не хотел, где кончается жизнь Джинджер Роджерс и начинается жизнь генерала Дугласа Макартура. Младшим сенатором от Калифорнии был Микки Маус, который отличился во время Второй мировой войны безупречной службой на бомбардировщике в составе Тихоокеанского флота. Командор Маус сбросил бомбу прямо в дымовую трубу японского линкора. Капитаном линкора был Чарли Чен³. Вот он был зол!

Жаль, что большинство современных молодых людей никогда не видели Дж. Эдгара Гувера на серебристом экране. Это был человек четырехметрового роста, совершенно неподкупный. Только представьте себе человека, который любит свою страну так сильно, что его нереально подкупить, – ну разве что предложить мелкий ремонт его дома. Невозможно восхищаться такой силой характера без магии серебристого экрана.

Помогла ли мне «Сан» в годы моего студенчества? Я не знаю и боюсь ошибиться. Я помню, как набрал имя Этель Бэрримор, как «Э-Т-И-Л» – и это в заголовке.

Готовясь к этому мероприятию, я встретился с лучшим главным редактором, с которым мне только доводилось работать. Это был Миллер Харрис, он на год старше меня. Не хотел бы я быть в его возрасте. Я не против быть в летах Э.Б. Уайта, если бы я был самым Э.Б. Уайтом. Теперь Миллер Харрис стал президентом фирмы «Игл шертмейкерс». Как-то я заказал у них рубашку, и Миллер прислал мне счет на 1/144 от дюжины дюжин.

Он сказал мне, что на сегодняшний день «Сан», без сомнения, является лучшей студенческой газетой Соединенных Штатов Америки. Я был бы рад, будь это правдой. Ведь рубашки фирмы «Игл» – лучшие рубашки в мире, я точно знаю.

Помню, как меня ошарашило известие, что Корнелл в мое время был сорок девятым в списке лучших университетов мира. Я надеялся, что он хотя бы в первой двадцатке. Тогда я не сознавал, что этот университет с последних рядов «лучших из лучших» сделает меня писателем.

Так и становятся писателями – случайно: ощущаешь себя на обочине действительности, всегда где-то на отшибе. Я провел здесь много времени в попытках подстроиться, стать своим. Но деловой костюм мне не подошел.

³ Чарли Чен – персонаж детективных романов, китаец по происхождению.

В конце концов я прекратил поиски и поступил в Чикагский университет, занимающий сорок восьмое место в мировом рейтинге.

Знаком ли я с Томасом Пинчоном? Нет. Слышал ли я о Владимире Набокове? Нет. Я знал и знаю Миллера Харриса, президента «Игл шертмейкерс».

Выходит, я испытываю больше сантиментов по поводу Корнелла, чем был готов признать. Мы, химики, не менее сентиментальны, чем обычные люди. Наша эмоциональная жизнь, наверное, из-за атомной и водородной бомбы, а также ввиду того, как мы пишем «Этель», была сильно опорочена.

Не будь в Корнелле «Сан», которая стала моей семьей, я был бы, наверное, даже рад подцепить пневмонию или еще какую заразу. Те из вас, кто решился прочесть мою книгу – любую из них! – знают, как меня восхищают большие семьи, настоящие и не очень. Большая семья помогает человеку сохранять рассудок.

Удивительно, что при этом я, непримиримый враг болезни по имени Одиночество, здесь, в Итаке, счастливее всего бывал, оставаясь один.

Я был счастливее всего в одиночестве – поздней ночью поднимаясь на холм после того, как помог уложить «Сан» в кровать.

Все остальные обитатели университета, преподаватели и студенты, уже спали. Весь день они играли в игру под названием «реальная жизнь». Они повторяли знаменитые споры и эксперименты, задавали друг другу трудные вопросы, ответы на которые реальная жизнь будет требовать снова и снова.

А мы в «Сан» уже были погружены в реальную жизнь. А как же иначе? Мы только что придумали, написали и запустили в печать очередную утреннюю газету для высокоинтеллектуальной американской общины, для множества людей – да, и не во времена президентства Гардинга, а в 1940-м, когда заканчивалась Великая депрессия и началась Вторая мировая война.

Как некоторые из вас могли уяснить из моих книг, я агностик. Но скажу вам так: когда я брел по склону холма в тот поздний час, уставший и одинокий, я знал, что Господь Всемогущий доволен мной.

Сейчас я стал нью-йоркским писателем, живу в Столице мира, и, насколько мне известно, я единственный уроженец Индианаполиса, который стал членом Американской академии и Института искусств и литературы. До прошлого года нас было двое. Моя землячка Джанет Планнер больше тридцати лет была парижским корреспондентом журнала «Нью-Йоркер», она писала под псевдонимом Жене. В последние годы мы общались, я подарил ей книгу с посвящением: «Вы нужны Индианаполису!»

Она прочла мои слова и сказала мне: «Как мало вы знаете».

Джанет была знакома с моим отцом – давно, в молодости, до того, как она подняла паруса и уплыла из Индианаполиса навстречу рассвету, не оглядываясь назад. Ее семья была известна в родном городе как владельцы похоронных контор.

Джанет Планнер была одним из самых искусных и изящных стилистов, каких только рождал Индианаполис. Ближе всех она была и к идеальному «гражданину мира». Она не была местечковым писателем, но и в отличие от другого уроженца Индианы, Эрни Пайла, не была и бесшабашной бродяжкой.

Когда она скончалась – здесь, в Нью-Йорке, – я хотел, чтобы ее родной город узнал об этом. Я позвонил в редакцию «Индианаполис стар», утренней газеты, которая как раз укладывалась спать. Никто в редакции даже не слышал о Джанет. Никого особенно не заинтересовал мой рассказ о ее жизни.

Но я нашел способ заинтересовать их, побудить поставить на первую страницу некролог, переписанный со страниц утренней «Нью-Йорк таймс».

Что подействовало? Я сказал им, что Джанет родственница хозяев похоронных бюро.

Сам я буду удостоен некролога в газетах Индиана-полиса благодаря тому, что я родственник владельцев сети скобяных лавок. Сама сеть разорилась после Второй мировой войны. У них была своя фабрика, которая выпускала замки, петли и другую дверную фурнитуру. Как бы то ни было, они были круче похоронных бюро.

Старшеклассником я успел поработать на главном складе «Скобяных изделий Воннегута» – в летние месяцы. Управлял грузовым лифтом, упаковывал заказы в отделе доставки и тому подобное. Мне нравилась наша продукция. Все было очень добротное и практичное.

Лишь недавно я понял, с какой теплотой отношусь к скобяному бизнесу: Гунилла Боэтиус из шведской газеты «Афтонбладет» предложила мне тысячу крон за короткое эссе на заданную тему: «Как я потерял невинность».

9 мая 1980 года я написал это письмо:

«Дорогая Гунилла Боэтиус!

Спасибо Вам за письмо от 25 апреля – я получил его лишь сегодня утром.

В годы Великой депрессии, когда я вошел в сознательный возраст, единственной религией моей семьи была вера в технический прогресс. Мне этой религии вполне хватало. Одна из ветвей моей семьи владела крупнейшим скобяным магазином в Индианаполисе, штат Индиана. Я и сейчас не считаю, что был не прав, когда восхищался хитроумными устройствами и приспособлениями, которые там продавались, и, когда мне становится одиноко и неудобно, я нахожу умиротворение в скобяном магазине. Я медитирую. Я не покупаю ничего, но молоток по-прежнему мой Иисус, а поперечная пила – моя Дева Мария.

Но я узнал, какой мерзкой может стать моя религия, когда на Хиросиму сбросили атомную бомбу. Конкретную дату Вы можете узнать в подходящем справочнике. Насколько глубокой была моя невинность? Всего за полгода до этого я, пленный американский солдат, находился в Дрездене, который был стерт с лица земли разящим с небес огнем. Тогда я сохранил невинность. Почему? Потому что технология, породившая ту огненную бурю, была мне знакома. Я досконально понимал ее, мне не доставляло труда оценить масштабы происходящего, представить, сколько пользы принесет человечеству эта изобретательность и настойчивость после войны. Не было в этих бомбах и самолетах ничего такого, что, в принципе, нельзя было бы приобрести в небольшой скобяной лавке.

Как с огнем: все знают, что делать с ненужным костром – залить водой.

Но бомбардировка Хиросимы вынудила меня взглянуть по-другому на технологию. Понять, что она, как и остальные великие религии мира, может сотворить с человеческой душой. Готов поспорить на ту тысячу крон, что Вы пообещали мне за эту статью, что во всех рассказах о потере невинности, которые Вы получаете, говорится не только о поразительных взлетах человеческой души, но и о том, в какие бездонные глубины она может опускаться.

Насколько больной была душа, явленная во вспышке Хиросимы? Я отказываюсь видеть в ней исключительно американскую душу. Это была душа любой развитой индустриальной страны Земли, мирной или воюющей. Насколько больной она была? Настолько, что она не хотела жить дальше. Что за душа создает новую физику, порождение кошмаров, отдает ее в руки политиков планеты настолько, как говорят в ЦРУ, «нестабильной», что самый мимолетный приступ глупости гарантирует конец света?

Терять невинность должно быть приятно. Сам я не читаю своих романов, но подозреваю, что в них говорится именно об этом, так что, вероятно, это правда. Я, в свою очередь, знаю теперь, что происходит, поэтому могу планировать жизнь трезвее и меньше удивляться происходящему. Но настрой у меня ухудшился, и вряд ли я стал от этого сильнее духом. После Хиросимы у меня, так сказать, вырос ампераж, но понизился вольтаж, так что мощность в ваттах в итоге осталась прежней.

Для меня, если честно, ужасно осознавать, что большинство людей вокруг меня живут в настолько нудной и удушающей зависимости от машин, что не будут возражать, если их жизнь

окончится в мгновение ока, словно выключили свет. Даже если у них есть дети. Сколько моих читателей будут отрицать, что фильм «Доктор Стрейнджлав» был столь популярен из-за счастливой концовки?

Меня приглашают на разные сборища неолуддитов, иногда просят произнести речь. На марше против ядерной войны, который состоялся в Вашингтоне 6 мая 1979 года, я сказал:

– Мне стыдно. Нам всем стыдно. Мы, американцы, под взглядами всего мира так неловко распорядились своей судьбой, что теперь нам приходится защищаться от собственного правительства и своих же индустриальных монстров.

Но не делать этого было бы самоубийством. Мы открыли новый способ самоубийства, семейный – способ преподобного Джима Джонса⁴ – и самоубийство миллионов. Что это за метод? Ничего не говорить и ничего не делать в отношении наших бизнесменов и военных, что держат в своих руках самые непредсказуемые существа и самые ядовитые яды во всей Вселенной.

Люди, которые играют с этими химикалиями, такие тупые!

При этом они еще и злобные. Ведь это бесчестно – рассказывать нам как можно меньше про мерзость атомных бомб и электростанций!

И кто из всех тупых и злобных людей с такой легкостью подвергнет опасности все живое на Земле? Думаю, это те, кто врет нам про атомную промышленность, или те, кто учит свое начальство врать убедительно – за соответствующую плату. Я говорю о некоторых адвокатах, посредниках и обо всех экспертах в области пиара. Американское изобретение – профессиональные контакты с общественностью – на сегодняшний день полностью опозорено.

Ложь о безопасности атомной энергии, которой нас пичкают, была изощренно вылеплена с мастерством, достойным Бенвенуто Челлини. Она была выстроена крепче и надежнее, нежели сами атомные электростанции.

Я утверждаю, что создатели этой лжи – грязные мартышки. Я их ненавижу. Они могут считать себя симпатягами. Это неправда. Они мерзки. Если им не помешать, они убьют все на этой голубой планете своими «официальными опровержениями» наших сегодняшних слов – своей злобной, тупой ложью.

⁴ Джим Джонс – создатель религиозной секты, последователи которой совершили в 1978 году массовое самоубийство.

Отстой

В Корнеллском университете мне преподавали химию, биологию и физику. Выходило плохо, и скоро я забыл все, чему меня пытались научить. Армия направила меня в Технологический институт Карнеги и Университет Теннесси учиться на инженера – термодинамика, механика, изучать устройство и применение станков и так далее. Выходило плохо. Я вообще привычен к неудачам и нередко оказывался среди худших учеников класса. Мы с моим кузеном учились в одном классе в Индианаполисе и вместе окончили школу. В то же самое время, когда у меня были плохи дела в Корнелле, у него ужасно складывалось в Мичиганском университете. Отец спросил его, в чем проблема, и кузен дал, я считаю, замечательный ответ:

– Папа, ты не понимаешь? Я тупой!

Чистая правда.

Не везло мне и в армии, где все три года службы я оставался нелепым долговязым рядовым. Я был хорошим солдатом, отличным стрелком, но никому не пришло в голову меня продвигать. Я выучил все па строевой шагистики. Никто в армии не мог плясать в строю лучше меня. Я еще вполне способен сплясать в строю, если начнется третья мировая война.

Да, я был посредственностью и на отделении антропологии в Чикагском университете после Второй мировой. Там практиковалась отбраковка, как и везде. То есть были студенты первого сорта, которые определенно станут антропологами, и лучшие преподаватели факультета брали их под свою неусыпную опеку. Вторая группа студентов, по мнению факультета, могли бы стать посредственными антропологами, но с большей пользой применили бы свои знания о *Homo sapiens* в других областях, в медицине или вот в юриспруденции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.